

СВИДАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

НИНА
СОРОТОКИНА



ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Гардемарины

Нина Соротокина
Свидание в Санкт-Петербурге

«ВЕЧЕ»

1992

Соротокина Н. М.

Свидание в Санкт-Петербурге / Н. М. Соротокина — «ВЕЧЕ», 1992 — (Гардемарины)

В 1744 году императрица Елизавета Петровна решила женить своего наследника, Петра Федоровича, на дочери губернатора города Штеттина Софье Фредерике Ангальт-Цербстской – будущей Екатерине Великой. Принцесса Софья с матерью тайно вызваны в Россию под именем графинь Рейнбек. Путешествие было бы совсем тяжким, если бы его не скрасил русский студент... Никита Оленев. Юноша влюбляется в молодую графиню и клянется быть ее рыцарем, даже не подозревая, во что обойдется ему эта клятва. Спустя пять лет теперь уже великая княгиня Екатерина и Оленев встречаются на бале-маскараде в Зимнем дворце. Во время бала убит немецкий дворянин Ханс Леонард Гольденберг, а на следующий день пропадает Никита. Алексей Корсак и Александр Белов немедленно отправляются на поиски друга...

Содержание

Часть первая	6
Никита	6
Глава, которая могла бы называться вступлением, если бы она была первой	11
Белов	16
Екатерина	23
Лесток	28
Сакромозо	32
Софья	37
Маскарад	42
Гаврила	49
Анастасия	54
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Нина Соротокина

Свидание в Санкт-Петербурге

© Соротокина Н. М., 2011

© ООО «Издательский дом «Вече», 2011

* * *

Часть первая

Никита

В апрельский день, с которого мы начнем наше повествование, Никита Оленев направился на службу пешком, отказавшись не только от коляски, но и от Буянчика, который, по утверждению конюха, стер то ли холку, то ли ногу, молодой князь не захотел вдаваться в подробности. Погода была прекрасная – серенькая, влажная, петербургская, при этом совсем весенняя. Никита вглядывался в озабоченные лица ремесленников, торговцев с лотками, военных и все пытался понять – чего ради у него с утра хорошее настроение и что он ждет от сегодняшнего дня?

Да ничего особенного, господи! Все будет как обычно: бумаги, груды бумаг – прочти, отложи, выскажи мнение в письменной форме, хотя заведомо знаешь: не только твое мнение об этой бумаге, как устное, так и письменное, никому не интересно, но и саму бумагу никому не придет в голову читать. После часа сидения, когда весь станешь, как отсиженная нога, можно потянуться и выйти в коридор, чтобы с озабоченным видом пройти мимо начальства, если таковое окажется на месте. Потом можно переброситься словом с переписчиками, посплетничать о городских новостях.

В прочие зимние дни, когда в одиннадцать утра еще темно, а в три уже темнеет, когда на столах зажженные свечи и шуршание деловых бумаг напоминает мышиную возню, Никиту все это злило несказанно, а сейчас он прыгал через лужи и снисходительно усмехался над бессмысленностью своей службы.

В конце концов, Иностранная коллегия ничуть не хуже и не лучше прочих сенатских канцелярий. Сановитые члены ее хлопают Никиту по плечу и говорят с отеческими интонациями: «По стопам батюшки пошел? Молодец, молодец...»

Никуда он не шел, ни по каким стопам, все получилось само собой. Просидев три года в лекционных залах Геттингенского университета, Никита отчаянно затосковал по дому, а здесь письма от отца одно другого решительнее: «Хватит портки просиживать! Сколько можно баловаться химиями да механиками? Языки изучил, и хорошо... пора послужить России...» – ну и все такое прочее.

Приехал, поселился в милом сердцу особняке, который порядком пообветшал в отсутствие хозяина. Стены, колонны, службы стояли, правда, в полной целости, их даже побелкой пообновили, а внутри... Только библиотека осталась в неприкосновенности, а в прочих комнатах мебель переломали, паркет залили какой-то дрянью, в Гавриловой горнице все колбы перебили и тараканов развели. Но Гаврила, где горлом, где подзатыльником, быстро навел порядок. Главное качество княжеского камердинера – деловитость. Ему дворня в рот смотрит. Если Никита что прикажет казачку, конюху, официанту, они так и бросаются исполнять, а потом исчезнут на час. С камердинером этот номер не проходит, его показным усердием не обманешь. Да и какой Гаврила камердинер? Он и дворецкий, и староста, и алхимик, и врач, и ближайший к барину человек, и еще черт знает кто... на все руки. Бывают такие должности на Земле, которые называются просто именем человека.

О воздух Родины, небо Родины, о дорогие сердцу друзья! С Алешей Корсаком встретиться не удалось – он находился на строительстве порта в городе Регервик, зато Белов был в Петербурге. Отношения с Сашей быстро вошли в привычное русло, и зажили бы они припеваючи, как некогда под сводами навигацкой школы, если бы не был друг женатым человеком, а главное, не сжирай у него все время служба. Словом, Никита даже обрадовался, когда отец

перед очередным отъездом в Лондон определил сына на хорошую должность в Иностранную коллегию, ведавшую сношениями России со всем прочим миром.

По регламенту коллегии президентом ее был сам канцлер Алексей Петрович Бестужев, вице-президентскую должность исправлял вице-канцлер Воронцов. Оба были первейшие в государстве люди, а посему в коллегию являлись чрезвычайно редко. Коллегия сочиняла грамоты, ведала почтой, содержала в своих недрах тайный «черный кабинет» и, кроме того, управляла калмыками и уральскими казаками.

«При чем здесь калмыки?» – неоднократно спрашивал себя и прочих Никита и, как водится, не получал вразумительного ответа, кроме как калмыками занимаемся по старой традиции с года основания коллегии, а именно с 1718-го.

Пусть так... и почему бы Никите не ведать делами калмыков, если для этого вообще ничего не надо делать, кроме как вскрывать тридцатилетней давности, украшенные плесенью дела и констатировать, что податель сего за давностью лет уже не ждет указаний от петербургского начальства.

Иметь двадцать три года от роду, прослушать курс у профессоров Штрудerta и Кинли, читать Демокрита и Джона Гаркли, обожать Монтеня, ощущать себя склонным к ваянию и быть в душе пиитом, а при этом сочинять пустые бумажки – это ли не мука, господа? Никита пытался искать сочувствия у коллег, но не был понят. Их мир вполне уместился между канцелярскими столами, страсти порхали по служебным коридорам и находили богатую и достаточную пищу для игры ума. И жить интересно, и платят хорошо!

Здесь бы взвыть волком, но нетерпеливая юность защищена, а может, вооружена верой. И Никита верил, что служба эта временная. Придет срок, когда призовет его Россия к другим подвигам, а давать всему оценки и подводить итоги – это удел сорокалетних, занятие старости.

Никита был уже рядом со зданием коллегии, когда глазам его предстало грустное зрелище: полицейская команда высаживала на пристань испуганных промокших людей, нарядно одетую девушку и двух мужчин, по виду слуг. Один из них, старик, громко и надрывно причитал. «За что можно арестовать эту милую черноокутую девицу?» – подумал Никита, невольно замедляя шаг.

Недоразумение быстро разъяснилось. Это был не арест, а подоспевшая вовремя помощь. Лодка девицы столкнулась с проплывающим мимо стругом, и, хоть утлое суденышко не перевернулось, все натерпелись страху, слуги потеряли весла, лодка получила пробоину. Теперь потерпевшим грозила разве что простуда, вода в Неве была ледяной, а сухими на девушке остались только капор и меховая накидка.

– Сударыня, могу ли я быть вам чем-либо полезен? – спросил Никита участливо.

– Можете, – кивнула девушка, запихивая под капор мокрые волосы и пританцовывая от холода. – Самое полезное для меня сейчас – это сочувствие. Посочувствуйте моей глупости! А ведь папенька предупреждал!..

Она подняла назидательно палец, потом постучала себя по лбу. По-русски девушка говорила совершенно свободно, но с легким иностранным акцентом. В ней не было и тени смущения, только природное лукавство. И этот пальчик, и ямочки на щеках, и смуглая, не прикрытая косынкой шея – почему-то притягивали и волновали.

Никита рассмеялся, снял плащ и набросил его на плечи девушки.

– Ничего, в карете отогреются, – сказал один из полицейских. – Сейчас мы их мигом к папеньке доставим.

Боясь быть навязчивым, Никита откланялся.

– Но как вам вернуть плащ? – крикнула девушка вдогонку.

– Пусть это вас не заботит, сударыня. Оставьте его себе на память о происшествии, которое кончилось так благополучно.

Полицейская карета подхватила девушку с ее спутниками и покатила в сторону понтонного моста.

Коллегия встретила Никиту особым запахом бумажной пыли, только что вымытых полов и озабоченным, несколько непривычным гулом, сложным, как морской прибой, звучащий в раковине.

«Опоздал», – было первой мыслью Никиты, которая ничуть его не взволновала. «Что-то случилось», – вторым пришло в голову, и он поспешил в свой кабинет.

В комнате, кроме копииста и переписчика, никого не было, оба были крайне взволнованы, но деловиты и весьма споры, перья так и строчили по бумаге, что не мешало им обмениваться короткими фразами.

– Где экстракты из министерских реляций? Позвать сюда тайного советника Веселовского! – явно передразнивая кого-то, шепелявил копиист.

– Да где их взять, ваша светлость, если они не в присутствии? – слезливо вторил ему переписчик, время от времени взрываясь коротким хохотком.

В кабинет заглянул обер-секретарь Пуговишников, лицо его было красным, парик как-то вздыбился и сполз на правое ухо.

– Пришел? – гаркнул он Никите. – Чем занят?

Никита молча показал глазами на бумаги. Он уже успел принять крайне озабоченный, канцелярский вид, при таком выволочку делать – только от работы отвлекать. Пуговишников окинул комнату зорким взглядом и исчез, хлопнув дверью.

А в коллегии поутру произошла вещь совершенно из ряда вон – появился вдруг Сам, канцлер Алексей Петрович, вид измученный, речь несвязная и весь – гром и молния. Подробности копиист пересказывал уже шепотом. Зачем Бестужев появился с утра – было непонятно, но выходило, что именно затем, чтоб никого на месте не застать и устроить большой разнос. Воспаленные глаза канцлера говорили о многотрудной ночной работе на пользу Отечества, но жизненный опыт копииста подсказывал, что столь же вероятна была большая игра в доме Алексея Григорьевича Разумовского, где канцлер спускал тыщи за ломбером и разорительным фаро. О последнем предположении копиист, естественно, не сказал прямо, и если б кому-то вздумалось призвать его к ответу и заставить повторить рассказ слово в слово, то кроме утверждения, что у Разумовского играют по-крупному, – а об этом каждая петербургская курица знает, – ничего бы из него не выжали.

Целый час после отъезда канцлера коллегия работала как левой, так и правой рукой, каждый напрягал оба полушария канцелярского мозга, а потом вдруг как отрезало: пошли обсуждать, жаловаться, воздевать руки, обижаться: здесь, понимаешь, работаешь до пота... Даже приезд тайных советников Веселовского и Юрьева никого не остудил, только повернул в другое русло обсуждение проблемы.

Оказывается, среди прочих упреков канцлер выкрикнул слова об излишней болтливости чиновников, более того, болтливости злонамеренной, касающейся разглашения какой-то государственной тайны. Кем? Кому? О чем? На всю коллегия пало подозрение.

А в самом деле, что есть светский разговор, а что суть опасная болтовня и разглашение? Наиважнейшее, всех взволновавшее событие в апреле – это поход русской армии к Рейну на помощь союзникам, то есть австрийцам и англичанам. Какая цель этого похода? Либо прижать хвост прусскому пирату, читай Фридриху II, и пресечь войну – сей Фридрих уже Силезию разорил, вошел в Саксонию, посягнул на Дрезден! – либо влить новые силы в европейские армии и разжечь войну с новой силой, дабы опять-таки прижать хвост Фридриху II. Что же в этих рассуждениях есть разглашение тайны, если сам Господь еще не знает, как повернутся события?

Оказывается, государственная тайна состоит в том, что наши войска вообще куда-то двинулись. Да об этом весь Петербург судачит в каждой гостиной! Да и как не судачить, если

любимой сплетней чуть ли не целых два года были рассказы о том, как Бестужев настаивал подписать военный договор с Австрией и как государыня от этого отказывалась. А уж сколько бумаг об этом писано в Иностранной коллегии!

Чего ради государыне Елизавете благоволить к Австрии? Королева их Мария-Терезия – наша соперница в женской красоте, и всем памятно ее коварство, когда посол австрийский Ботта вмешался в заговор против нашей государыни. И если кто и пустил тихонький слушок, что лопухинский заговор дутый (каков смельчак!) и что Ботта не имеет к нему отношения, то это ложь, потому что сама Мария-Терезия пошла на уступки, сняв полномочия с негодного посла и заключив его в крепость.

Пересказывали любопытные анекдоты, например случай с осой. Договор лежит наконец перед государыней, и она готова его подписать, но в тот момент, когда она поднесла перо к бумаге, на это перо, пачкая крылышки в чернилах, села оса. Естественно, государыня с криком и самыми дурными предчувствиями откинула перо вон, подписание договора отложилось еще на полгода.

Обер-секретарь Пуговишников, хоть он и есть самый главный сплетник, бьет кулаком по столу: «Разболтался народ! Все языком ла-ла-ла... Да при Анне Иоанновне, царство ей небесное, за такие-то речи!..» Сейчас, конечно, мягкие времена, но ведь и народ не глуп, он всегда каким-то нюхом, кончиком, третьим зрением знает, о чем можно болтать, а о чем нельзя... при свидетелях.

От дела Никиту оторвал окрик из коридора: «Тебя секретарь Набоков искал...» Замечательно, если кому-то понадобился. Как приятно разогнуть спину! Можно было бы сказать: «А что меня искать? Вот он я...» – и с новым рвением приняться за работу, но Никита предпочел немедленно предстать пред очи Набокова.

Секретаря не было на месте, и Никита пошел бродить по комнатам четвертой экспедиции первого департамента. В первом кабинете о Набокове сегодня слыхом не слыхали и слышать не хотели, во втором – «он был только что, но куда-то вышел». Наконец Никите указали на комнату переводчика, куда Набоков должен был непременно заявиться в ближайшее время.

Комната переводчика была пуста. Никита сел за стол, заваленный бумагами, пачками и словарями. В забранное решеткой, давно не мытое окно заглянуло *апрельское* солнце. По словарию путешествовала ожившая на весеннем тепле муха. Удивительно, что лакомого находят эти жужжащие твари в Иностранной коллегии? Муха достигла края словаря и беспомощно свалилась на украшенную длинной витиеватой подписью бумагу, затрепетала крылышками, пытаясь перевернуться.

Именно из-за мухи Никите вздумалось проверить это бумажное, пыльное, провонявшее табаком царство. Окно, видно, уже открывали. Шпингалет был поломан, и оконную ручку плотно приторочили веревкой к косо вбитому гвоздю. Он размотал веревку. В этот момент какой-то болван, перепутав комнаты или просто из любопытства, открыл дверь. Он ее тут же захлопнул, но этого оказалось достаточным, чтобы оконная рама рванулась из рук Никиты, а сквозняк разметал по комнате все бумаги. Чертыхаясь, он набросил веревку на гвоздь и бросился собирать бумаги. Последней он поднял с пола ту самую, украшенную длинной подписью: «Остаюсь ваша любящая дочь, Их Императорское Высочество, великая княгиня Екатерина».

Никита не верил своим глазам – неужели это ее почерк? И какие аккуратненькие буковки! Никита посмотрел в начало бумаги. Это было письмо к герцогу Анхальт-Цербстскому. «Милостивые государи родитель мой и родительница! Здравствуйте с дорогими моими братьями и прочими родственниками! Объявляю вам, что сама я и царственный супруг мой Петр Федорович по воле Божьей обретаемся в добром здравии...»

Никита перевел дух, положил письмо на стол и отвернулся в нерешительности. Несколько вопросов сразу, теснясь и оттого сбивая со смысла, вертелись в голове. Первый, а может, и не первый, но главный – отчего великая княгиня пишет письмо в Германию по-русски?

И с какой стати, скажите на милость, царственное письмо объявилось в Иностранной коллегии – ошибки в нем, что ли, выправляют? Понимая, что читать чужие письма дурно, и оттого кляня себя за неумное любопытство, Никита опять потянулся к письму взглядом. В коридоре послышались шаги, Никита успел прочесть одну фразу: «Государыня велела говеть» – и быстро отошел к окну.

В комнату вошел Набоков:

– А... князь, вот кстати. Пойдем ко мне.

Разговор с секретарем был коротким. В другое время Никита наверняка обрадовался бы, что его переводят в паспортный подотдел – все-таки живая работа, – но сейчас ему более всего хотелось остаться одному, подумать...

– ...Будешь в числе прочих оформлять выездные паспорта для подданных государства Российского и въездные для иностранных...

Никита согласно кивал, а сам думал о недавней встрече с великой княгиней, пусть косвенной, через письмо, но ведь можно представить, как макала она перо в чернильницу, как проверяла, нет ли волоска на кончике пера, как писала потом, склонив голову набок.

– Ты что улыбаешься? – спросил Набоков.

– Радуюсь за калмыков и уральских казаков. – Никита стал серьезным. – Их судьбы попадут в более профессиональные руки.

Набоков рассмеялся:

– Поздравляю, князь, с новым назначением. Поверь, это полезная работа. К делу приступить немедленно.

Кабинет в новом подотделе ничем не отличался от прежнего – те же окрашенные в неопределенный цвет стены, те же преклонного возраста столы – поизносились в канцелярских потугах, те же разговоры, и в то же время все было другим, потому что новое назначение так мистически совпало с чтением письма знатнейшей дамы. «Государыня велела говеть...» О милая, милая... Вспоминать о ней тяжкий грех, но ведь вспоминается: перед глазами стоит зимняя дорога, крутятся колеса, дует ветер, вздувая поземку... или вдруг затихнет все, и на лес хлопьями посыплется снег. Красота вокруг такая, что хочется плакать и молиться.

У знатной дамы много имен – Софья, Фредерика, Августа и, наконец, Екатерина, но есть еще одно имя, сейчас наверняка забытое окружающими ее царедворцами, – Фике. Так звали худенькую девочку в заячьих мехах. Она очень спешила в Россию, что не мешало ей мило переглядываться и кокетничать со случайным попутчиком – геттингенским студентом.

Первой бумагой, которую Никита оформил в этот день, был паспорт на имя Ханса Леонарда Гольденберга, дворянина, представленного прусскому послу. Дворянин прибыл в Россию по делам купеческим, а именно: для купли пеньки и парусины.

Счастливых вам дел, Ханс Леонард...

Глава, которая могла бы называться вступлением, если бы она была первой

Спешу предупредить читателя, что глава эта носит чисто справочный характер, а то, что имеет отношение к сюжету, умещается в конце ее в четырех абзацах. Дать краткую историческую справку о событиях, предшествующих нашему повествованию, автора понуждает, быть может, не излишняя добросовестность, а скорее наивная вера, что это интересно.

Если читатель придерживается другого мнения, то он смело может опустить эту главу, помня, что, встретив в тексте незнакомые имена из семьи Романовых, их царедворцев и иностранных послов, ему следует отлистать страницы назад и найти требуемые пояснения.

Заранее прошу прощения за рассыпанные там и сям сведения о политической жизни XVIII века. Эти справки в какой-то мере замедляют развитие сюжета, зато дают возможность автору перевести дух, а также объяснить себе самой внутреннюю логику мыслей и поступков своих персонажей.

Итак... В XVIII веке одним из самых важных вопросов внутренней русской политики был вопрос о престолонаследии. Виной тому было то, что государь наш Петр Великий (или Петр Безумный, как по сию пору называют его в мусульманском мире) имел соправителя, и, хоть брат его Иван был от природы «скорбен головою» и умер в тридцатилетнем возрасте, потомство его, по русским законам, обладало такими же правами на престол, как и дети самого преобразователя.

При жизни Петр I имел неоспоримую политическую силу и мог не считаться с конкурирующей великокняжеской ветвью. Будь сын его, Алексей, способен продолжить дело, начатое отцом, старая традиция престолонаследия была бы продолжена: от отца к старшему сыну, то есть по прямой нисходящей линии. Но Алексей был отцу врагом. Чем кончилась их распря, известно каждому, и только о способе убийства несчастного царевича историки спорят до сих пор.

Мы не будем на этих страницах обсуждать величайшую пользу и величайший вред, которые нанес России Петр Великий, скажем только, что дело преобразователя, как он его понимал, было главным в его жизни и он не мог позволить себе передать трон русский в случайные руки. Поэтому и появился указ, по которому наследник назначался самим правителем.

Вполне разумный указ, беда только в том, что Петр, всем сердцем радея о соблюдении этого указа и понимая всю его значимость, так и не успел при жизни назначить себе наследника. В предсмертный час он прохрипел только: «Оставлю все...» – и умолк навсегда. Наверное, это только легенда, за правдивость которой нельзя поручиться, но даже теперь, два с половиной века спустя, больно и досадно думать, что пошли природа сил государю еще на минуту, и выдохнул бы он всеми ожидаемое имя, и не было бы всей последующей чехарды, которая образовалась потом вокруг русского трона.

Хотя по зрелом размышлении, будь у Петра эта лишняя минута, будь даже лишний предсмертный час, он бы и его употребил не на точное указание имени наследника, а на выбор, который мучил его не только последние годы, но и секунды.

Меншиков с гвардейцами посадил на престол царственную супругу – Екатерину-шведку, которая через два года преставилась от желудочной болезни. Злые языки говорили, что она была отравлена засахаренной грушей – конфетами, что были разложены на подносах по всему Летнему дворцу.

А дальше на русском троне сидели поочередно: молодая ветвь то Ивана, то Петра – и все вроде Романовы. Петр II – внук Петра Великого и сын названного Алексея, далее – Анна Иоанновна – вторая дочь «скорбного головой» Ивана, Анна Леопольдовна, регентша, тоже Иваново семя – его внучка, – и сам царствующий младенец Иоанн, свергнутый Елизаветой, хоть и носил

фамилию Брауншвейгского, занимал трон вполне законно, потому что приходился правнуком слабоумному Ивану Романову.

Ноябрьской ночью 1741 года Елизавета Петровна по лютному холоду шла с гвардейцами от Смольного дворца к Зимнему брать власть – каких только смешных и неожиданных аналогий не таит в себе русская история!

Для всей России Елизавета – Петрова дочь – была давно ожидаемой государыней, и закон закрыл глаза на то, что этих прав она не имела. Даже Русская Церковь словно забыла, что родилась Елизавета за три года до брака родителей. А что для церковников есть более презренное, чем внебрачное дитя?

Но то, что закон не был строг, а Церковь забывчива, было во благо России. Ложь во спасение? Может быть, и так. Правда иногда бывает так страшна и остра, что не лечит, а убивает душу. Да и кому была нужна на престоле кровавая Анна Иоанновна с ее верным Бироном и чего хорошего можно было ждать от жалкой ненавистной народу Брауншвейгской фамилии? Свергнутого младенца Ивана с семейством отправили вначале в Ригу, затем решили сослать в Соловки, но ввиду трудности транспортировки задержали в Холмогорах, что в семидесяти верстах от Архангельска.

Взойдя на престол, Елизавета сразу позаботилась о назначении наследника. Государыне тридцать два года, она молода, здорова и вполне способна к деторождению, но по мудрому совету своего окружения не хочет обзаводиться мужем, дабы не делить с ним многострадальный трон русский.

Положение усугубляется еще и тем, что и по петровской линии Елизавету нельзя признать законной наследницей – первой в очереди на трон. Существует Тестament о престолонаследии, подписанный четырнадцать лет назад ее матерью – Екатериной I. По этому Тестamentу взойшел в свое время на трон Петр II, спустя четыре года он умер от оспы. «...А ежели великий князь без наследников преставится, то имеет по нем права Анна Петровна (старшая дочь Петра Великого) со своими десцендентами, однако ж мужеского пола наследники по женской линии пред женскими предпочтение имеют...»

Анна Петровна умерла, но ее «десценденты», а именно сын Карл-Петр-Ульрих, обретающийся в Голштинии, имел куда больше прав на престол, чем его царственная тетка. Карл-Петр-Ульрих Голштинский – Романов по матери, немец по происхождению и воспитанию. Кроме того, в силу родственных связей он имел одинаковые права как на русский, так и на шведский трон. Но не шестнадцатилетнему мальчишке выбирать, где ему править, за него все решает Елизавета. Она вызывает его в Россию и назначает своим наследником.

Распорядившись таким образом судьбой двух законных претендентов на престол, Елизавета предоставила своему окружению развернутую письменную и устную кампанию для упрочения своего политического положения. С амвонов загремели проповеди, с театральных подмостков потек елей, поэты и лиры славословили Лучезарную.

«О мать своего народа! Тебя произвела природа дела Петровы окончать!» Это Сумароков, он высказал главное из того, что ждала от Елизаветы Россия. Государыня не только дочь Петра, но и продолжательница деятельности его. Образ Петра был «канонизирован», все, что он делал, думал, собирался делать, было верно, прекрасно и неоспоримо. Годы после смерти Петра расценивались однозначно: как времена упадка, страданий, мрака и застоя.

На празднике коронации Елизаветы было дано роскошное театральное действо «Милосердие Титово».

Начиналось все трагически. На сцене плакали дети и девы в «запустелой стране», рыдала лютня, надрывалась флейта: «О, как нам жить в этом хаосе и мраке?» Но всплывала в сопровождении «веселого хора и поющих лиц» на облаке прекрасная Астрея – она спасет несчастную страну! Астрею сопровождали пять добродетелей государыни: Храбрость, Человеколюбие, Великодушие, Справедливость и Милость. Можно продолжать, подробно пересказать все

действие, найти в нем и величественные, и смешные стороны. Хотя не стоит излишне насмешничать: все понимают, что бироновщина – это плохо, а Елизавета – хорошо.

Вернемся к наследнику – Карлу-Петру-Ульриху. Он приехал в Россию, кляня и ненавидя все русское, король прусский – его кумир. Подражая Фридриху II, он играет на скрипке, на флейте и в войну, правда, пока еще оловянными солдатиками.

Очень скоро двор и сама Елизавета убедились, что великий князь и наследник – юноша ума недалекого, образования скудного, характер имеет вздорный, а также излишне привержен Бахусу, то есть пьет без меры в компании самых непотребных людей – егерей да лакеев – и быстро пьянеет.

Но выбор был сделан, и выбор законный. Голштинского князя обратили в греческую веру, нарекли Петром Федоровичем и занялись поиском невесты, дабы «не пресеклась его линия и дала свои десценденты».

Выбор невесты и привоз ее в Москву – это целая глава в русской истории. Бестужев настаивал на браке наследника с Марианной Саксонской, желая упрочить этим союз с Саксонией и прочими морскими державами, читай с Англией. Елизавета медлила и размышляла. Какая Марианна, почему Марианна?

Надо сказать, что Елизавета, доверив Бестужеву руководство страной, по-человечески его недолюбливала. Она ценила его ум, отдавала должное его умению вести политическую интригу, защищала от наветов, которых было великое множество во все семнадцать лет его правления. Историки писали, что в середине XVIII века вся европейская политика, казалось, была помешана на том, чтобы правдами и неправдами свергнуть русского канцлера. Фридрих II с негодованием заявлял, что даже если Елизавета откроет заговор Бестужева против нее, то и тогда будет его защищать.

Все это так, но канцлер столь часто раздражал Елизавету, настолько часто смел быть скучным, назидательным, неизящным, что уж если появилась возможность проявить свою волю в таком женском деле, как выбор невесты, то она с удовольствием этим воспользовалась. Кандидатура Марианны была не единственной. Противники Бестужева – лейб-медик Лесток и воспитатель великого князя швед Брюммер – имели свои виды на невесту великого князя Петра Федоровича.

Надо ли объяснять, что брак наследника – вещь наиважнейшая, в каком-то смысле он надолго определит политику не только в России, но и повлияет на дела в Европе. Креатура Лестока – Брюммера – четырнадцатилетняя девица из маленького городка Цербст под Берлином. Софья-Фредерика-Августа, дочь прусского генерала Христиана Анхальт-Цербстского и жены его Иоганны, особы шустрой, пронырливой, словом, интриганки международного масштаба. Почему удалось Лестоку и Брюммеру уговорить государыню на этой девочке остановить свой выбор?

Родство с немецким домом было в традиции русского двора, традиция эта была заложена Петром I. Кроме того, нищая и незаметная принцесса, по мысли Елизаветы, не имела своего лица и не могла стать исполнителем чьей-либо чуждой России воли. Но чуть ли не главным было то, что Софья Цербстская была племянницей покойного и, как казалось государыне, еще любимого жениха – Карла Голштинского.

Жениха выбрал Елизавете отец – Петр I, между молодыми людьми возникли самые теплые чувства. Уже и свадьба была назначена, и вдруг накануне важного события принц Карл умирает от оспы. Юная Елизавета была безутешна, даже теперь, по прошествии почти двенадцати лет, при воспоминании о женихе на глаза ее навертываются слезы.

Софья Цербстская с матерью Иоганной была вызвана депешей в Россию. Им надлежало ехать скрытно под именем графинь Рейнбек, дабы шпионы прусские и прочие, а особенно чуткие уши Бестужева, которые и на расстоянии тысячи километров улавливали нужный звук, не услышали до времени важной тайны.

В любом учебнике истории можно найти дату путешествия графинь Рейнбек – январь 1744 года, из дневников и писем можно установить, как бедствовали они в дороге, ночуя на убогих постоялых дворах, как боялись угодить в полыньи при переезде рек, как страшились разбойников.

Забытым осталось только маленькое дорожное происшествие, а именно: случайное знакомство с русским студентом, который в зимние вакации путешествовал по Германии. Студент прилично изъяснялся по-французски и отлично – по-немецки, вежливым поведением смог угодить маменьке и, конечно же, пленился очаровательной дочкой. Она выглядела несколько старше своих лет – дать ей можно было все семнадцать, – стройная, оживленная, веселая.

Светло-карие глаза ее, словно вбирая в себя цвет величественных «танненбаум» (ах, как прелестно звучало это в ее устах!), становились зелеными, остренький подбородок нетерпеливо вскидывался вверх – она словно торопила карету: скорей, скорей!

Молодой студент и сам не понял, как изменил маршрут. Вместо того чтобы своевременно повернуть к Геттингену, он увязался за каретой и следовал за ней до самой Риги, и только здесь у городской ратуши он узнал, в кого сподобила судьба его влюбиться. Для всех эта девушка, бывшая графиня Рейнбек, стала принцессой Цербстской, а молодой студент все еще таил в душе очаровательное прозвище Фике, губы помнили вкус ее губ, и смех звучал в ушах, словно колокольчики в музыкальной шкатулке.

Никита не поверил. Здесь ошибка, недоразумение, сплетня, если хотите! Никакая она не невеста, а если и везут ее с маменькой в Петербург в царской, роскошной карете, так только потому, что они гости государыни. В сопровождении негодующего Гаврилы Никита поспешил в Петербург – им надо объясниться! Пусть Фике сама скажет, что предназначена другому, а вся их дорожная любовь – только шутка, каприз!

Он прожил в Петербурге месяц или около того, так и не встретившись со своей случайной попутчицей. Государыня и весь двор находились в Москве, туда и поехала принцесса Анхальт-Цербстская с дочерью.

Никита терпеливо ждал их возвращения, хотя надежд на встречу не было никаких. Теперь он точно знал, что познакомился в дороге не просто с чужой невестой, а невестой наследника. Каким-то неведомым способом его дорожное приключение стало известно отцу, наверное, Гаврила проболтался. Князь Оленев не стал устраивать сыну разнос, не попрекнул его за беспечность, но сделал все, чтобы Никита как можно скорее вернулся в Геттинген и продолжил учение.

Тайная любовь Никиты стала известна друзьям. Саша не удержался от того, чтобы позубоскалить: «Много рассмотрено, мало куплено...» Он не желал относиться серьезно к увлечению друга. «Считай, что она умерла, – и дело с концом!» – таков был его совет. Алеша был деликатнее, никаких советов не давал. «Вот ведь угораздило тебя...» – и весь сказ. Он считал, что любовь Никиты сродни болезни – лихорадке или тифу, и втайне надеялся, что время эту болезнь излечит.

Четыре года – большой срок. У Никиты хватило ума поставить на своих воспоминаниях жирный крест, но с самого первого дня возвращения домой он ждал, что судьба пошлет ему случай встретиться с бывшей Фике, ныне их высочеством, великой княгиней Екатериной.

О возобновлении каких бы то ни было отношений не могло быть и речи, но ведь он клятву давал на постоялом дворе близ Риги. Забытая Богом дыра среди снегов, жалкая халупа, где Иоганна, Фике, горничная Шенк и вся их челядь вынуждены были ночевать в одной слабо протопленной комнате. За окном выл ветер, в соседней горнице плакали дети, собака надрылась от лая, чуя волков, а Никита и Фике целовались в холодных сенцах.

– Будете моим рыцарем? – Она спрашивала очень серьезно. – Будете верны мне всю жизнь?

– Да, да... – твердил Никита восторженно, стоя перед ней на одном колене.

Холодная ручка коснулась его лба, словно благословляя. Потом раздался пронзительный, резкий голос матери: «Фике, где вы?» И она исчезла.

Наверное, великая княгиня забыла эту клятву и, может быть, ни секунды не относилась к ней всерьез – игра, шутка... Это ее право. А право Никиты помнить о клятве всегда и при первом знаке прийти на зов, даже если этот зов будет опять пустым капризом.

Белов

Сашу Белова, блестящего гвардейского офицера, флигель-адъютанта генерала Чернышевского и мужа одной из самых красивых женщин России – Анастасии Ягужинской, нельзя было назвать в полной мере счастливым человеком. Правда, вопрос о счастье, тем более полном, уже таит в себе некоторое противоречие. Полностью счастливы одни дураки, а на краткий миг – влюбленные. Жизнь же умного человека не может состоять из сплошного, косяком плывущего счастья, потому что она складывается из коротких удач, мелких, а иногда и крупных неприятностей, неотвратимых обид, хорошего, но и плохого настроения, дрянной погоды, жмущих сапог, перманентного безденежья и прочей ерунды, вопрос только – вышиты ли эти, выражаясь образным языком, составляющие бытия по белому или по черному фону.

Если бы нищий курсант навигацкой школы увидел в каком-либо волшебном стекле, какую он за пять лет сделает карьеру, голову потерял бы от восторга, а теперь он подгоняет каждый день кнутом, чтоб быстрее пробежал, чтоб выбраться наконец из будней для какого-то особого праздника, а каким он должен быть, этот праздник, Саша и сам не знал.

Простив Анастасию за мать, которая участвовала в заговоре, а теперь, безъязыкая, томила в ссылке под Якутском, государыня сделала ее своей фрейлиной, а после замужества с Беловым – статс-дамой. Простить-то – простила, а полюбить – не полюбила. Жить Анастасии Елизавета назначила при дворце в небольших, плохо обставленных покоях, и новоиспеченная статс-дама никак не могла понять, что это – знак особого расположения или желание, чтобы дочь опальной заговорщицы была всегда на глазах. Возвращенный дом покойного отца ее Ягужинского, что на Малой Морской, по большей части пустовал, потому что Саша имел жилье в апартаментах генерала Чернышевского, у которого служил, и только изредка, когда удавалось сбежать от бдительного ока гофмейстерины-начальницы, Анастасия встречалась в нем с мужем, чтобы пожить пару дней примерными супругами.

Чаще Саша виделся с женой во дворце, в знак особой милости ему даже разрешалось пожить какой-то срок в ее нетопленных покоях, но что это была за жизнь! Ему казалось, что каждый их шаг во дворце просматривается, как движение рыб в аквариуме. Кроме того, сам дворец, с его беспорядочным бытом, сплетнями, наущничеством, мелочными переживаниями, мол, кто-то не так посмотрел или не в полную силу улыбнулся, претил Саше. Он с удивлением понял, что рожден педантом и привержен порядку, чтоб есть вовремя и спать семь часов – не меньше.

И получилось так, что брак их стал еще одной формой ожидания тех светлых дней, когда сменятся обстоятельства и они наконец станут принадлежать друг другу в полной мере. Добро бы Анастасия жила постоянно в Петербурге, ан нет... Государыня ненавидела жить на одном месте, как заведенная ездила она то в Петергоф, то в Царское, то в Гостилицы, к любимому своему фавориту Алексею Разумовскому, то на богомолье, и Анастасия в числе прочей свиты повторяла маршрут государыни. Так прошел год, другой... а потом стало понятно, что так жить чете Беловых на роду написано, и поэтому оба радовались каждой встрече друг с другом.

Философски настроенный Никита, выслушав очередной раз не жалобы, а скорей брюзжание друга, ответил ему вопросом: «А может быть, оно и к лучшему? Любовь не переносит обыденности, утреннего кофе в неглиже, насморка и головной боли, безденежья и враз испортившегося настроения, а вы с Анастасией – вечные молодожены!» – «Тогда, пожалуй, я не завидую молодоженам», – ответил ему Саша.

Еще служба его дурацкая! Генерал Чернышевский, человек в годах, по-солдатски простодушный, вознесенный коллегией на высокий пост за прежние, еще при Петре I оказанные государству услуги, искренне считал, что флигель-адъютанты придуманы исключительно

для исполнения его личных желаний, которых, несмотря на возраст, у него было великое множество, и не последнее в них место занимали амурные. Почти все ординарцы и адъютанты должны были жить при особе генерала, у него же столовались в общей, казенного вида комнате. Помещение это, продолговатое, с узкими, на голландский манер, окнами, с литографиями на стенах и длинным столом с каруселью чашек и вечно кипящим самоваром, было всегда заполнено людьми. Кто-то очень деловито входил и выходил, лица все имели важно прихмуренные и обеспокоенные какой-то важной патриотической мыслью. Генерал любил эту комнату и часто в нее заходил, чтобы запросто попить чайку с подчиненными. Личина непроявляющей озабоченности очень ему нравилась, наводя на мысль, что это не просто столовая, а штаб-квартира несуществующих военных действий.

День начинался с того, что Саша скакал во дворец, чтобы расспросить у челяди, какое ныне у матушки-государыни настроение и не ждут ли генерала Чернышевского немедленно ко двору. Ответ был всегда один – государыня еще почивают, генерала не ждут, а коли будет в нем надоба, то будет прислан особый курьер.

Каждое утро Сашу терзала одна и та же мысль – не ездить никуда, а соснуть в соседней комнатенке, чтоб через час предстать пред генералом все с той же фразой: «Почивают, а коли будет нужда...» – и так далее, но у него хватало ума этого не делать. Еще донесет какой-нибудь дурак, а генерал усмотрит в Сашином поведении чуть ли не измену Родине.

Далее целый день мотаешься по курьерским делам или скачешь подле колеса генеральской кареты. Визиты, черт их дерит... К вельможам военным и партикулярным, к фаворитам и родственникам государыни, к послам иноземным и лицам духовным, а также ко вдовушкам, коих покойные мужья воевали когда-то в начальниках ныне здравствующего генерала. Во время визитов адъютантам надлежало терпеливо ждать в прихожих да тесных буфетных и благодарить судьбу, если там были канапе или хотя бы стулья.

Служба эта, однако, считалась престижной, и многие завидовали Саше за связи при дворе и благорасположение к нему сильных мира сего.

Унылость службы и вечное безденежье прирастили Сашу к картам. Впрочем, играли все, а уж гвардейскому офицеру не играть – это все равно что иметь тайный порок вроде мужского бессилия или клинической скарденности. И то сказать, бережливость не в чести у русского человека. Если в католических или лютеранских странах безответственный мот осуждается не только Церковью, но и общественным мнением, потому что мотовством своим вредит душе, разоряет наследников и тем наносит вред государству, то в России безудержное траченье – безоглядное, не считая, – называется широкостью натуры, почти удалью и вполне приветствуется народом.

Саша умел считать деньги, говоря при этом, что он не скуп, но бережлив, а что думают по этому поводу окружающие, ему было наплевать. Всем играм он предпочитал ломбер и кадрилию, в игре был сдержан, чувствовал противника, ставки не завышал и почти всегда был в выигрыше. Удача его в картах вызывала не только восхищение, но и зависть.

Неожиданно разразился скандал. Собрались в «Красном кабаке», старомодном притоне, который еще со времен Петра I облюбовали гвардейцы. В этот вечер Саша играл особенно удачно. И нашелся болван, скорее негодай, который в сильном подпитии, трезвым бы он не осмелился, громко выкрикнул предположение: «А не играет ли Белов порошковыми картами?» Негодай был немедленно призван к барьеру, и здесь же на болоте, что отделяет «Красный кабак» от Петербурга, ранним утром произошла дуэль. На этой дуэли надо остановиться подробнее, потому что она сыграла роковую роль в Сашиной судьбе.

Игра в ту ночь была трудной, не было настоящего веселья, не было азарта, все как будто работу справляли, а тут еще следящий за каждым Сашиным движением мрачный подвыпивший тип. Бледное лицо его с кислым ртом и прилипшими к потному лбу кудельками показались Саше знакомым, но в кабаке было темно, чадно, где тут разглядишь, когда надо считать

фишки. И только когда были брошены оскорбительные слова и Саша схватился за шпагу, чей-то рассудительный голос прошептал в ухо:

– Не связывайся! Дай в рожу кулаком, с него довольно будет. Это же Бестужев!

– А по мне хоть королева английская! К барьеру! – крикнул Саша, он был в бешенстве.

О непутевом графе Антоне, единственном сыне всесильного канцлера, ходила по Петербургу дурная слава. Давно подмечено: если судьба не может отомстить человеку лично, она мстит ему через детей. Много сил, времени, денег потратил канцлер для устройства карьеры сына. Он сделал его камергером при дворе, подыскал блестящую невесту – графиню Авдотью Даниловну, племянницу Разумовских. Год назад он отправил молодую чету в Вену с почетной миссией – поздравлениями по случаю рождения эрцгерцога Леопольда.

Но благодетельствовать Бестужеву-младшему – это лить воду в бездонную бочку. Граф Антон был необразован, груб, самонадеян, а хуже всего – пил горькую и был скверен во хмелю. Жену он тиранил, вечно ввязывался в скандальные истории, с отцом был крайне непочтителен, а из Вены привез такие долги, что, говорят, папенька учил его подзатыльниками.

Все это было известно Саше, а не признал он сразу эту пьяную рожу только потому, что никогда не общался с графом и видел его кратко только издали. Венская поездка, а скорее беспробудное пьянство, внесла в лицо и фигуру молодого графа свои коррективы – он как-то странно ссутулился, словно носил на спине непосильную поклажу, руки обвисли, и подбородок сам собой утыкался в грудь, шея отказывалась держать эту хмельную, дурую набитую голову.

Саше предстояло выбрать оружие, он остановился на шпагах. Бестужев не возражал, только встряхивал головой, словно от мухи отбивался.

Пока дошли по осклизлой тропочке до лужайки, где не одно поколение гвардейцев сводило счеты, графа совсем развезло, он успел упасть, вываляв в грязи не только руки и одежду, но и лицо.

– Бестужев, ты на ногах не стоишь! Проси прощения или отложи дуэль! – предложил один из секундантов.

Тот опять встряхнул головой и прохрипел только одно слово: «Пистолеты!..»

Саша ненавидел этого человека! Нет большего оскорбления, чем обвинение в шулерстве, но, скрипя зубами от ярости, он сказал, что согласен на пистолеты, но лучше все-таки перенести дуэль на завтра – не стрелять же в эту беспомощную скотину, пародию на род человеческий.

Граф Антон опять забубнил что-то нечленораздельное. Смысл речей нельзя было понять, но тон их был оскорбительный.

Секунданты отмерили шаги. Прежде чем идти на условленное место, Саша оглянулся на обидчика и поймал его взгляд. В нем были ненависть, тоска, но он был вполне осмыслен, и, что удивительно, главным его выражением было любопытство. Можно было подумать, что у графа имеются к Саше какие-то свои счеты, чем-то он ему хоть и в ненависти, но интересен, а обвинение в шулерстве – только предлог, чтобы обидеть посильнее.

Саша выругался негромко. Какое дело графу Антону до его, Сашиной, жизни? А может быть, это папенька все подстроил, желания канцлера неисповедимы. Саша решил, что не будет наказывать графа смертью. Для этих дел надобно, чтобы противник был трезв, иначе это противу правил чести дворянской.

– Падаль... – прошептал Саша, вскинув пистолет. – Пальну на воздух. – Он сам себе не хотел сознаться, что граф вызывает у него не только брезгливость, но и жалость.

Снег на лужайке уже стаял, обнажив глинистую, поросшую жухлым бурьяном почву, в овраге шумели холодные ручьи. Саша готов был поклясться, что выстрелил уже после того, как граф рухнул в грязь, может быть, на доли секунды, но после. Отчего же он кричит таким страшным голосом? Мало того что он дурак и скандалист, так он еще и трус!

Секунданты бросились к графу. Пуля прошла через ладонь, камзол и лицо его были испачканы кровью. Может, он сам в себя выстрелил? Саша медленно приближался к лежа-

щему, как груды тряпья, графу, и в тот самый момент, когда секунданты подняли его на руки, граф извернулся и сделал ответный выстрел. Словно свежий сквозняк дунул в Сашину щеку, от смерти его отделял вершок, не больше.

Далее события развивались следующим образом. Наутро, протрезвев и увидев свою стянутую бинтами руку, граф Антон вместо того, чтобы раскаяться в пьяной болтовне, сел к столу и корявым почерком накатал бумагу по инстанции с жалобой на членовредительство.

По петербургским гостиным пошли оживленные разговоры. Конечно, все общество обсуждало пьяного дуэлянта, но многие просто развлекались. Слышали новость? Бестужев-сын учинил скандал, устроил дуэль, а теперь жалуется. Ну, ему это не впервой... Кажется, общество радуется, что есть на свете такие негодяи, что готовы дворянскую честь запихнуть в канцелярскую реляцию, читай донос. А вы слышали, куда он ранен? В ладонь... Не иначе, он пытался поймать пулю, чтобы спасти свою замечательную жизнь! Вот канцлеру-то радость... ха-ха-ха...

Но Саше было не до смеха. Самое меньшее, что ему грозило после разбора дела, – это ссылка в дальние тобольские степи или астраханские лиманы.

Белов жил как в чад. Генерал Чернышевский хлопотал за своего подопечного, Анастасия ломала в отчаянии руки. Она хотела броситься к ногам государыни, но умные люди отсоветовали ей делать столь опрометчивый шаг. Возможно, Елизавета еще и не знает ничего. А потому не стоит лить масло в огонь, всем известно – государыня строжайше запретила дуэли.

Никита узнал о злополучной дуэли не сразу, Саше стыдно было исповедоваться перед другом – связался с дрянью и стал участником фарса. Никита, однако, отнесся к событиям весьма серьезно, а точнее сказать, пришел в бешенство. Он встретился с графом Антоном на улице, поклонился вежливо:

– Мы не представлены... Но для того, что я имею вам сообщить, это и не важно.

Бестужев молча и внимательно смотрел на молодого человека, видно было, что он знает, кто его остановил.

– Если Белов будет разжалован и сослан, – продолжал Никита, вам предстоит драться со мной.

Граф скривился, придержал забинтованной рукой треуголку, которую трепал ветер, и молча проследовал дальше.

Никита ничего не сказал Саше об уличном разговоре, он был противником дуэлей, но случаются в жизни и безвыходные положения.

Вот в эти-то дни и вынырнул из своего московского небытия на петербургские просторы Василий Федорович Лядащев. Они столкнулись с Сашей на Невской перспективе, зашли в герберг, выпили виноградного вина, вспомнили былые времена, а потом сразились на бильярде. Оказывается, Лядащев объявился в Петербурге месяц назад, приехал в столицу в размышлении, как жить дальше. Держался он с Сашей дружески, словно они всегда были на равной ноге и только вчера расстались. Однако Саша не поверил ни в случайность этой встречи, ни в беспечный, отстраненный треп Лядащева. Естественно, Саше и в голову не пришло жаловаться на неприятности, Лядащев незаметно выведал у него все сам, но, только поставив точку в рассказе, Саша понял, что старому приятелю и благодетелю известно все до мелочей, и, заставив Сашу повториться, он вел себя как меломан, пожелавший услышать знакомую мелодийку в исполнении автора.

– Большого скандала, чем был, уже не будет, – подытожил Лядащев их разговор. – Все уйдет в песок. Поверь старому волку.

Слова Лядащева оказались пророческими. Скандал вдруг рассосался. Еще вчера судачили в гостиных, сегодня вдруг смолкли. Написанная по инстанции бумага куда-то пропала, а граф Антон тихо отбыл в свою загородную усадьбу.

Отъезд графа выглядел вполне естественно – на фоне сельских пейзажей раны затягиваются не в пример быстрее, чем в городских ландшафтах, но злые языки поговаривали, что граф сослан из-за плохого отношения к жене, нажаловалась-де Авдотья Даниловна государыне, а та топнула ногой – доколе граф Антон будет позорить двор? Саше, однако, представлялась совсем другая картина. Из головы не шла встреча с Лядащевым, и, зная прежнее могущество этого человека, он не мог избавиться от мысли, что именно Василий Федорович надавил на скрытые пружины придворной жизни и тем спас «своего молодого друга» от неминуемой кары. Ординарец генерала Чернышевского совершенно определенно намекнул Саше, что Лядащев вернулся на службу в Тайную канцелярию, но скрытно от всех, работая по особо важным поручениям. Это была сплетня, но Саше хотелось в нее верить, и он в нее поверил.

Проклятая дуэль состоялась полмесяца назад или около того, а сейчас, в жиденский апрельский вечерок, Лядащев и Никита сидят за столом в доме на Малой Морской, приветливо улыбаются хозяину, а Саша из кожи вон лезет, чтобы придумать, о чем с ними говорить. С каждым в отдельности – о чем угодно, слова сами с языка летят, и всегда времени не хватает, чтоб исчерпать все темы, но когда гости смотрят в разные стороны и даже не пытаются замять неловкость, а всем видом выказывают свою неприязнь друг к другу, то здесь хозяину надо находить выход из положения.

Они пришли вдвоем, и поначалу Саша удивился, решив, что у Лядащева и Никиты появились какие-то общие дела. Недоразумение быстро разрешилось: они столкнулись у подъезда, холодно, но вежливо раскланялись, хором осведомились у лакея, дома ли хозяин, и так же молча, гуськом, прошли в комнату.

Лядащев наконец пришел Саше на помощь – заинтересовался часами на камине и начал болтать по-светски, вызывая Никиту на беседу.

– Забавно... У древних тоже было в сутках двадцать четыре часа, но в течение дня они распоряжались этими часами, как им захочется, то есть брали время от рассвета до заката и делили его на двенадцать. Поэтому летние часы днем были очень длинные, а зимние совсем коротки. Помимо солнечных, о которых все знают, существовали еще водяные часы. – Он принял мечтательный вид. – Дева бросила жемчужину в сосуд, чтобы остановить время...

Никита глянул на него диковато:

– Какая дева?

– Из древней поэмы. По бассейну плавал сосуд с крохотной дырочкой в дне, наполнясь, он отмерял секунды. Остроумно... Это уже потом появились колеса, маятники и, наконец, пружина...

– Лядащев, я вас не узнаю! – вмешался Саша. – Вас интересуют часы?

– Не столько часы, сколько время.

– Пятнадцать минут девятого...

– Они, кстати, отстают, но я не об этом. Я говорю о времени как о понятии. Обычно это не занимает молодых.

– В тридцать с гаком вы причислили себя к старикам? – рассмеялся Саша.

– Все зависит от того, какой гак, – с насмешливой улыбкой отозвался Лядащев, рассматривая Никиту, словно дразня.

– Время бывает несовершенное и совершенное, – сказал тот ворчливо и, понимая всю неуместность такой интонации и злясь на себя, отвернулся.

– И наше время, конечно, несовершенное?

– Василий Федорович, при чем здесь политическая оценка? Никита пишет стихи.

– А ты не подсказывай, – бросил Никита другу. – Наше время, с грамматической точки зрения, несовершенное... Мы пытаемся жить в настоящее время, живем на самом деле в прошедшем, все Петра-батюшку поминаем, хотя должны были бы задуматься о будущем... вот. –

И тут же одернул себя: «Ну зачем я добавил это дурацкое «вот», мальчишество, честное слово. И зачем говорю эдак красиво? И кому? Сыщику...»

Лядащев добродушно рассмеялся. Саша успел заметить за ним особенность, которой ранее не было: к месту и не к месту высказывать мысли нравоучительного или познавательного свойства. Странно, что Никита так неохотно поддерживает беседу, – он обожает познавательные разговоры.

Появился лакей, в камзоле с галунами и шелковых чулках, с немым вопросом: подавать ужин? Лядащев, глядя на лакея, поцокал языком: мол, широко живешь, Белов, по средствам ли?

Да, да, поторопитесь с ужином... Саша немедленно отправил лакея с глаз. Ишь, вырядился! В отсутствие хозяев челядь ходила в немыслимых одеяниях, головы забывали чесать, а здесь господский парик натянул на уши, знает, негодяй, что не получит за это взбучки, лакей – лицо дома! Только бы ужин подали приличный. Впрочем, Иван – парень расторопный, догадался, наверное, сбегать в трактир за провизией.

– Я слышал, вы служите в Иностранной коллегии? – спросил Лядащев, закидывая левую ногу на правую.

– Именно, – коротко буркнул Никита.

– И как же ваша доблестная коллегия трудится в делах иностранных?

– Без удовольствия. Шпионов ищет. Хотя это вовсе не входит в круг ее обязанностей.

– Вы меня обнадежили, князь. – Лядащев ловко перекинул правую ногу на левую. – Коли есть шпионы, мое бывшее ведомство не останется без работы.

Тон у Лядащева стал нескрываяемо язвительный, слово «князь» он произнес с особым вкусом, словно позванивая мягким «з». У Саши окончательно испортилось настроение. Только бы Никита не решил, что это намек на его происхождение. Старый Оленев усыновил Никиту, сделав его своим наследником, но тот по-прежнему очень болезненно реагирует на подобные замечания. И что Лядащев к нему привязался?

– На Святой Руси да без Тайной канцелярии, – усмехнулся Никита. – Не будет работы, так вы сами ее себе придумаете.

– Остроумная мысль, а? – Лядащев повернулся к Саше: – Ты как на это смотришь, Белов?

– А я на это вообще стараюсь не смотреть, – поторопился с ответом Саша и, желая прекратить словесную перепалку, обратился к Никите домашним, дружеским тоном: – Ты по делу пришел или просто так?

– Просто так... И еще хотел узнать, не намечается ли на ближайшую неделю маскарад или бал? Я же ни разу во дворце не был!

– Неужто и тебя потянуло на танцы? – рассмеялся Саша. – Однако сейчас во дворце не танцуют, а когда начнут плясать – неизвестно. Великая княгиня Екатерина больна.

– Ка-ак? – В голосе Никиты прозвучало истинное потрясение. – Она же только что была здорова! Опасна ли ее болезнь?

Лядащев посмотрел на него внимательно, и Саша по-своему истолковал этот взгляд.

– Никита, не задавай лишних вопросов. Речи о здоровье особ царского дома караются по указу...

– Да будет тебе, – перебил его Лядащев. – Здесь все свои.

Никита все никак не мог прийти в себя, взгляд его словно заморозило, фигура окаменела, и только пальцы стучали по коленке перебором – от мизинца к указательному и обратно. Неожиданно он встал и направился к двери.

– Я, пожалуй, пойду... Нечего жемчужиной, – он скривился в сторону Лядащева, – затыкать время.

– А ужин? – Саша искренне огорчился. – Иван за шампанским побежал. Такая встреча!

– В другой раз выпьем за встречу. Мне тоже пора, – сказал Лядащев, поднимаясь.

В полном недоумении Саша проводил гостей до двери, отчетливо представляя, как они сейчас на улице раскланяются и разойдутся в разные стороны. Зачем приходил Никита – это ясно, снял с души запрет и решил хоть издали посмотреть на великую княгиню. А вот что Лядащеву понадобилось в его доме, Саша понять не мог. «Да ничего не понадобилось, – пытался он уговорить себя. – Шел мимо и подумал: дай зайду...»

Кстати сказать, все именно так и было. Но Саша не мог принять столь простое объяснение, слишком уж значительно выглядела эта встреча. Словно сама судьба распорядилась столкнуть вместе Никиту и Лядащева и дать им возможность внимательно посмотреть друг другу в глаза.

Екатерина

Великая княгиня Екатерина лежала в жару за шелковым пологом алькова, лицо ее, руки и грудь покрывала мелкая сыпь, губы распухли и окантовались кровавой коркой. Горничные говорили, что от алькова тянет жаром, как от протопленной печи.

Доктор Бургав определенно сказал, что это оспа. Лейб-медик императрицы Лесток предложил пустить кровь, что было сделано немедленно. Доктора объяснялись меж собой шепотом, но чуткое ухо Екатерины поймало страшное слово – оспа. Хирург Гюйон заметил, как она изменилась в лице, и тут же стал уговаривать докторов, что диагноз неточен, болезнь скорее всего напоминает краснуху или корь.

Гюйон был личным хирургом Екатерины, профессором «бабичьего дела», как говорили при дворе. Он должен принять у великой княгини роды, и только он знал, к великому своему сожалению, что после пяти лет брака супруга наследника все еще оставалась девицей.

Заверения хирурга и его ласковый взгляд несколько утешили Екатерину. Она закрыла глаза, худая рука ее в повязке после кровопускания казалась прозрачной, ногти потемнели. Доктора на цыпочках вышли из комнаты.

Приставленная к великой княгине статс-дама Чоглакова, в девичестве Гендрикова, родственница самой Елизаветы, принесла чашку бульона, поставила на столик. Потом цыкнула на девочку-калмычку, сидевшую в изголовье Екатерины, и показала ей глазами на дверь. Девочка сделала вид, что не замечает приказа, и истово стала махать над головой больной веером.

Чоглакова неодобрительно пожала плечами и поплыла к двери, поддерживая руками, словно драгоценный ларец, свой сильно выпирающий живот. Чоглакова всегда была беременна, а платья шила в тот короткий период, когда дитя еще не было зачато. Сейчас статс-дама выглядела ужасно – юбка без фижм, роба топорщилась, не в силах прикрыть объемные бедра, и в другое время Екатерина посмеялась бы всласть. Теперь ей было не до этого.

Как только за Чоглаковой закрылась дверь, великая княгиня ощупала лицо. Лучше смерть, чем оспа. Царственный супруг до оспы вовсе не был уродлив, он даже был хорош собой... Когда они встретились в первый раз? Это было в Германии, в Гамбурге, в доме бабушки Альбертины-Фредерики Бален-Дурлахской, вдовы Христиана-Августа Голштин-Готторпского, епископа Любского. Бог мой, почему у немцев так много имен на одного человека?! Как славно, что царственного супруга зовут просто Петр. Он тогда сказал: «Ах, милая кузина... Я очень рад видеть вас!» Сказал и чиркнул ногой по паркету, на нем были длинные лаковые башмаки с лиловыми бантами. В одиннадцать лет кожа у Петра была нежная, голубая и прозрачная, как у той принцессы из романа... Какого романа? Нет, не вспомнить, не важно... У принцессы была такая нежная кожа, что, когда она пила красное вино, на шее ее было видно, как оно течет... Кровавые струйки, кровавый поток... Куда он несет ее?

Если оспа, то лучше умереть. Она очень изменилась за последний год и знает об этом. Мужчины провожают ее глазами и делают комплименты. Впрочем, только иностранные мужчины, русские не осмеливаются. Если русские мужчины оказывают ей знаки внимания, их немедленно переводят куда-нибудь подальше – в Казань, Углич, а то и в крепость.

Екатерина заворочалась, пытаясь отлепить от простыни тело. Калмычка склонилась к самым ее губам, прислушалась, потом стремительно выбежала из комнаты.

– Мадам спрашивает, какое сегодня число?

– Что за вздор? – с раздражением ответила Чоглакова. – Уж не собралась ли она умирать?

Рядом с Чоглаковой сидела камер-фрау Крузе. Немолодая, неряшливая, любительница выпить, она была добрее молодой статс-дамы.

– Двадцатое апреля было с утра, – сжалилась Крузе. – А год она не спрашивает? Видно, бредит...

– Бедная девочка, бедная Екатерина... – вздохнула вдруг Чоглакова.

В словах ее не было фальши. Чоглакова знала, что Екатерина ее ненавидит, на все попытки наладить отношения отвечает высокомерным молчанием. Конечно, Чоглакова срывалась, но потом объясняла себе – у тебя такая должность, ты перед государыней в ответе. Велено оберегать великую княгиню от пустых разговоров и нежелательных общений – вот и оберегай, неси свой крест, а любить ее весьма необязательно. Но иногда против воли в душе Чоглаковой появлялась жалость к юной супруге наследника. Без родителей, без друзей, отец год назад умер в своем Цербсте. Екатерина узнала об этом из депеши, опухла от слез, на люди показаться было нельзя. И еще на всех дулась, ото всех требовала участия. Государыня разгневалась: «Ведите себя сдержанно, дочь моя, и не пытайтесь выставлять напоказ свое горе! Мы не можем объявить траур. Принц Анхальт-Цербстский не был королем».

– Вот именно, – сказала сама себе Чоглакова, принимаясь за вышивание и немедленно уколов палец. – Вот именно, – повторила она, слизывая кровь. – Если пошла в жены к будущему императору, так веди себя как подобает царственным особам. Никто тебя силой в Россию не тянул.

Екатерина лежала с открытыми глазами, ожидая девочку, и, когда та сообщила ей дату, повторив слово в слово фразу Крузе, она слабо улыбнулась, вернее, поморщилась, не в силах разлепить опухшие губы.

– Что, мадам? – прошептала калмычка.

– Ничего...

Значит, завтра с утра ей исполнится семнадцать. Интересно, вспомнит ли кто-нибудь о дате ее рождения? В начале апреля царственная тетушка Елизавета помнила. Для Екатерины был заказан брильянтовый убор – ожерелье и диадема. Сейчас, когда она лежит в жару с подозрением на оспу, о дне рождения можно не вспоминать. Оспа так заразна!..

Интересно, подарят ли ей после выздоровления убор или тоже забудут? Хорошо, что Елизавета надумала подарить убор, а не деньги... Деньги непременно пошли бы в счет долга, оставленного матушкой. Отчего у других бывают матери, которые одаривают своих дочерей? Отчего у нас такая мать, которая только и делает, что тянет одеяло на себя, и все ей мало, мало... В бытность свою в России она у дочери подарки Елизаветы силой отнимала и не стеснялась показываться в обществе в ее мехах и брильянтах.

А в тайной записке, переданной Сакромозо, она опять просит – нельзя ли получить Курляндию для брата Фрица? О господи, так не понимать ее жизни! Екатерина не видит императрицу месяцами, Бестужев ее ненавидит, супруг Петр – большой ребенок, что с него взять? Ее удел – книги, вышивание, скука, а теперь вот... оспа. Но она выздоровеет, непременно. Организм переборет все: оспу, краснуху, нелюбовь Чоглаковой, глупость и пьянство Крузе. Вот только не следили бы за каждым шагом, не шпионили. Это Бестужев вбил в их глупые головы, что каждое, самое невинное слово, сказанное Екатериной кому-либо при дворе, – преступление.

Мать волнуется, спрашивает, почему нет писем, почему дочь пишет редко и так холодно... Это не я пишу, маменька, это Иностранная коллегия пишет, потому что по измышлению все того же графа Бестужева – о, негодный человек! – вы, Иоганна-Елизавета, герцогиня Анхальт-Цербстская – креатура короля Фридриха, попросту говоря – шпионка!

Екатерина рассмеялась едко и закашлялась, сразу заныли все суставы, кровавая пелена застлала свет. Калмычка ахнула, бросила на пол веер и принялась поправлять подушки под головой великой княгини.

Об этом, маменька, не говорят вслух, как вы понимаете, но нашлись люди, донесли до меня эти слухи. Лживые, да? Будем честны, я уже взрослая, маменька, я уже все понимаю.

Вы сами виноваты, что чудовищная эта сплетня порхает по паркетам дворца тетушки Эльзы. Порхает, порхает по царским анфиладам...

Когда Иоганна Цербстская приехала в Петербург, ей было тридцать три года. Никто не говорил, что герцогиня Иоганна хороша собой, но она умела нравиться. И потом – кого не красит успех? А Иоганна наконец дорвалась до почестей, славы, которые должен был ей обеспечить русский двор. А четырнадцатилетняя дочь – гусенок с чрезмерно длинной шеей и носом – только некая помеха на балах и куртагах. Пусть играет в куклы со своим недоразвитым мужем-наследником, их время еще не пришло.

Но не за расточительство, не за скверный характер и не за бесцеремонное поведение выслана была в Германию Иоганна Анхальт-Цербстская, а за то, что позволила себе вмешаться в дела русского двора, смела плести интриги против канцлера Бестужева.

Обо всем этом Екатерина узнала много позднее, юную особу в пятнадцать лет не волнует политическая трактовка событий. Как ни тяжело ей было с маменькой в Петербурге, после ее отъезда стало еще хуже; провожая Иоганну, Екатерина даже себе самой боялась признаться, как хотелось ей уехать вместе с матерью. Домой... в старый, бедный, но любимый каждой половицей, каждым камнем замок. Как любила она издали свое детство!

Но трезвый ум гнал от себя эти воспоминания. Дома Екатерину ничто не ждало, это был тупик, а здесь, в России, будущее хоть и неведомо, зыбко, зато есть о чем мечтать.

Уже три года прошло, как матушка оставила Петербург. Уезжала она осенью, в конце сентября. Уже появились на берегах желтые листья, покраснели осины и раскисли дороги, затрудняя продвижение карет. На радостях, что Иоганна, которую весь двор с издевкой называл «королева-мать», лишает наконец всех своего общества, Елизавета подарила ей пятьдесят тысяч рублей и два сундука подарков. Екатерина видела эти китайские безделушки, сервизы, персидские шали и драгоценные ткани. Но Иоганна не обрадовалась подаркам, она ожидала большего. Пятьдесят тысяч – не деньги, они не покроют и половины долга! И вовсе не дочери пришла в голову мысль взять на себя материнские долги. Иоганна прямо сказала: русский двор самый богатый в Европе, и только глупец здесь не разживется. Где в Германии взять деньги? Муж на службе у Фридриха, а король прусский беден и потому невозможно скаречен.

Екатерина проводила мать до Красного Села. На мызу приехали затемно. Свита расположилась ужинать, а великая княгиня, измученная, обессиленная от слез, еле добралась до кровати. Иоганна держалась гораздо лучше и, чтобы не растревлять себя сценой расставания, может быть вечного, уехала поутру, не простившись с дочерью...

В комнату вошел Лесток, склонился к изголовью больной. Калмычка выскользнула у него из-под руки, боясь, что он ее раздавит. Лейб-медик не замечал девочку вовсе, как мебель, как неживой предмет.

– Рыцарь Сакромозо весьма опечален вашим нездоровьем, – прошептал он вкрадчиво. – Я могу что-либо передать ему от вашего имени?

Екатерина не пошевелилась, не открыла глаз. Обеспокоенный Лесток взял ее за руку, пощупал пульс. Он был слабый и учащенный. Лейб-медик осторожно положил руку вдоль тела и вышел.

– Утром еще раз пустим кровь, – донесся его голос из соседней комнаты. – И нельзя ли перевести их высочество в более теплое помещение? Здесь дует из всех щелей!

Чоглакова что-то ответила невнятно.

«Что можно ждать от женщины, которая зла от природы и которую к тому же всегда тошнит?» Это была последняя здравая мысль. Екатерина потеряла сознание. Она уже не видела, как к алькову приблизилась горничная-финка с большим тазом воды.

– Господин Лесток велел сделать охлаждающие компрессы, – сказала она, ни к кому не обращаясь, и окунула полотенце в таз с ледяной водой. Девочка-калмычка смотрела на нее

из-за канаве, куда она забилась от страха. Продолговатые глаза ее округлились, сквозь смуглоту щек проступил румянец.

Когда отжатое полотенце положили на лоб Екатерине, она вскрикнула. Компресс не принес облегчения, он обжигал. Ледяные струи потекли за уши, и она явственно увидела перед собой большой куб льда. Он был прозрачен, с острыми краями, правильными гранями, бирюзовые тени бродили в его загадочной глубине. Екатерине казалось, что ледяной куб надвигается на нее и неминуемо раздавит, если она не убежит. Но ни руки, ни ноги ей не повиновались. Екатерина вскрикнула и тут же рассмеялась своей наивности.

Как же этот куб может раздавить ее, если он стоит на санях? Русские всегда зимой ездят на санях, это их линейный экипаж, поставленный на полозья. От лошадей валит пар, и на ледяном кубе, как на возу дров, сидит мужик в тулупе и хлопает от холода руками в больших рукавицах. Ледяной куб он выпилил в Неве, а теперь везет его в Герберг, чтобы начинить ледник.

Но почему она едет рядом с этими санями? Куда? Куда? Ах, вспомнила, она едет на бал, на встречу с Сакромозо. Кто здесь давеча толковал про Сакромозо?

Воспоминания о мальтийском рыцаре вывели ее на поверхность здравого смысла из того отвратительного небытия, где ледяной куб вот-вот должен был разбиться на тысячу вертящихся острых кристаллов. Она вспомнила Лестока, который только что был в этой комнате и со значительным, скользким выражением толковал ей о рыцаре, чернобровом красавце с острова Мальта. Интересно, знает ли Лесток о его посредничестве в тайной переписке с матерью?

Потом она долго, захлебываясь от жадности, пила клюквенный морс – восхитительный напиток! Может быть, из-за клюквы она и пропотела? Екатерине казалось, что она лежит в луже воды.

А первая встреча с Сакромозо была не зимой, а в марте, все вокруг было тогда залито талой водой. Во время кадрили Сакромозо шепнул ей на ухо:

– Я привез вам письмо от вашей матушки...

Екатерина с ужасом прижала палец к губам, призывая его к молчанию, и осмотрелась – не слышал ли кто-нибудь этих крамольных слов. Только через десять фигур она смогла дать ему ответ:

– Я не могу принять вас у себя. Мне запретили принимать кого бы то ни было.

– Предоставьте действовать мне и ничего не бойтесь, – беспечно сказал Сакромозо и спокойно отвел ее к креслам. Он вел себя как истинный рыцарь, защитник обиженной и оскорбленной женщины.

Екатерина не видела, как продолжался бал. Во время ужина она не могла есть и все время искала глазами Сакромозо, боясь, что он выкинет какую-нибудь небезопасную каверзу, – он так смел и совершенно не представляет ее жизни во дворце.

И когда она поняла, что роковое письмо не будет ей передано на этом балу, и успокоилась, перед ней вдруг опять возник Сакромозо. Это было как раз в момент прощания с хозяевами, рядом стоял великий князь, Чоглакова, еще кто-то из русских. Сакромозо вначале приложился губами к руке великого князя, потом повернулся к Екатерине. На глазах у всех он вместе с платком вытащил из кармана крохотную записку, туго свернутую в трубочку, низко склонился и, прижавшись губами к руке великой княгини, вложил ей в пальцы записку. Никто внимания не обратил ни на платок, ни на трубочку из бумаги. У Екатерины так тряслись руки, что она чуть не уронила злополучную записку на пол, прежде чем сунула ее в перчатку, которую держала в руке. Проще было бы положить записку в карман, но она боялась, что Чоглакова заметит этот жест и вздумает обыскивать ее.

Далее Сакромозо галантно повел Екатерину к выходу и, не скрываясь, сказал, что умоляет ее высочество подумать и дать ответ в следующий вторник, на балу. И опять на это никто не обратил внимания.

Мало ли какого ответа ждал от нее Сакромозо – может, он задал вопрос, касаемый русских обычаев, или они поспорили относительно строчки в сочинениях мадам Савиньи.

Ночью в туалетной, запершись на крючок, Екатерина прочитала записку от матери: вопросы, просьбы, тон тревожный и требовательный. Главное – объяснить им ее теперешнее положение, как они бестолковы там все – в Берлине!

Но вот нелепица! Держать в руках путеводную нить для прямого общения с матерью и зависеть от таких мелочей, как отсутствие бумаги и чернил. Чоглакова, ссылаясь на Бестужева, запретила Екатерине держать в своих покоях письменные принадлежности. В конце концов в качестве бумаги был использован вырванный из книги передний чистый лист, а чернила тайком принес камердинер.

Дважды отдавала Екатерина Сакромозо письма для матери. Как уж он переправлял их в Берлин, это его дело, но ответа от Иоганны она получила.

Отношения с Сакромозо сложились самые дружественные. Они встречались на куртах, приемах и в театре, премило беседовали, танцевали, иногда обменивались книгами. Бдительная Чоглакова всегда находилась рядом, и каждый час Екатерина ждала от нее нареканий, но почему-то не получала. Она относилась это на счет Лестока. Наверное, он заступился за великую княгиню перед государыней.

С приятными мыслями о Сакромозо Екатерина заснула. Ей приснился остров Мальта, такой, как о нем рассказывал рыцарь: высокие дома из желтого песчаника, скалы и очень мало земли в расщелинах, из которых пучками, как зеленые стрелы лука, растут пальмы. «Плодородную почву на Мальту привозят в мешках, – рассказал ей мальтиец. – Был даже обычай – привозить землю в качестве пошлины». На Мальте было весело, никакой Чоглаковой, ни мужа, ни пьяной Крузе, только бабочки и удивительно синее море.

Ночью был кризис. Медики столпились у кровати спящей Екатерины и шепотом ругались по-латыни. Лесток горячился больше всех. По его настоянию явились горничные, переодели сонную Екатерину в сухое белье, а потом перенесли в другую, более теплую комнату.

Наутро у больной опять появился жар, но значительно более слабый, чем прежде. Гюйон оказался прав, это была не оспа, а корь – жесточайшая, но и она отступила. Хотя тело Екатерины ото лба до пяток было покрыто не просто сыпью, а пятнами, величина некоторых была с монету, за жизнь ее можно было не опасаться.

Екатерина первый раз за эти дни поела и попросила переставить кровать. К окну. Настроение окружающих заметно улучшилось. Все знали, что коревая сыпь не оставляет на лице рубцов и оспин.

Когда слухи о выздоровлении Екатерины достигли ушей Елизаветы, она сама навестила больную, разговаривала очень милостиво и пробыла у постели около получаса.

– В субботу в Зимнем дворце будет маскарад. Вам надлежит блистать на нем.

Екатерина хотела возразить, вряд ли она оправится настолько, чтобы облачаться в костюм и танцевать, но государыня упредила ее слова:

– Маскарад следовало бы дать в честь вашего дня рождения, но корь помешала это сделать. Но теперь мы устроим праздник в честь вашего выздоровления. Мы не будем объявлять об этом открыто, но и вы, и я будем знать – он был в вашу честь!

Лесток

Герман Лесток, граф, действительный статский советник и глава Медицинской коллегии, стоял в гардеробной перед зеркалом, примеряя новый костюм. Рядом с ним, с зажатым в губах мелком, весь усыпанный булавками – и на лацканах, и на рукавах, – суетился модный портной Аманте.

Платье сочиняли к летнему сезону. Штаны – по пурпурной земле насыпь серебром и с бахромой понизу – сидели отменно, камзол же, тоже пурпурный, с серебряным позументом, жал под мышками, и Лесток недовольно морщился, расправляя с показной натугой плечи.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что я располнел?! – Далее шло весьма крепкое выражение, мы не решаемся его повторить, француз был знатный матерщинник.

– Ни в коем случае, ваше сиятельство! – истоно вскричал портной, быстро подпарывая рукава. – Моя вина! Не извольте беспокоиться. Мигом поправим!

Об Аманте говорили, что он француз, только год как появившийся в России. Это было откровенное вранье. Заказчикам, что попроще, он замечательно дурил голову, коверкая русские слова и вставляя иностранные, может быть, и похожие на французские. С Лестоком портной не осмеливался вести подобную игру и говорил на чистейшем русском языке, из которого не мог, да и не старался, убрать московский акцент.

В кабинет заглянул долговязый носатый постный Шавюзо, по родственным отношениям – племянник, по деловым – секретарь Лестока.

– Звали, ваше сиятельство?

– Когда придет господин Сакромозо, проводи его в китайскую гостиную и сразу упреди меня.

Шавюзо понимающе кивнул. Лесток ждал мальтийского рыцаря с самого утра для важного разговора. Сакромозо появился в Северной столице месяца полтора назад как частное лицо, но тем не менее был принят при дворе и обласкан государыней. Впрочем, о нем быстро забыли, а рыцарь не набивался к государыне за карточный стол, предпочитая быть незаметным.

– Теперь не давит? – услужливо спросил портной.

– А что пола торчит? Вытачки перепутал?

– Последняя французская модель, – с легким вздохом отозвался Аманте, мол, разделяю ваше негодование, но так вся Европа носит.

– Может, на мальчишках, у которых фигура, как древко у знамени, это и хорошо сидит, а при моем телосложении...

– Убавить?

– Оставь.

– Кафтан извольте сегодня примерить?

Лесток вопросительно посмотрел на дверь в секретарскую, ожидая, что вдруг она откроется и ему доложат о прибытии мальтийского рыцаря. Часы показали пять, пропиликали дрезденскую мелодийку.

– Давай кафтан.

Кафтан был простой, суконный, дикого цвета, то есть серого с голубым оттенком, пуговицы и петли украшал черный гарус. Заказан он был с единой целью: если государыня вдруг изволит гневаться, что приближенные экономии не знают, а такое случалось, кафтан будет очень кстати, строг и достоин.

Когда вещь сидела не то чтоб плохо, а так себе, Аманте начинал суежливо одергивать полы и рукава. Здесь же он с достоинством отошел от Лестока, предоставив ему возможность без помех любоваться в зеркале своей величественной фигурой.

– Хорошо, – сказал Лесток и, снимая кафтан, добавил: – А от желчегонной болезни одно средство хорошо – кровопускание.

Это был запоздалый ответ на невинный, заданный час назад вопрос портного. Лесток любил примерки. Вид драгоценных тканей, кружев, разговор о форме обшлагов на рукавах и прорезных петлях на карманах повышал у него настроение, и он даже разрешал портному несколько фамильярное к себе отношение, которое выражалось в том, что Аманте, как бы между прочим, задавал вопросы касательно болезней и способов лечения оных. Беседа велась так, словно всем этим болел сам портной, и трудно было понять, желает ли он получить бесплатную консультацию или, наоборот, пытается подольститься к вельможному лекарю.

Когда за портным закрылась дверь, Лесток прошел в кабинет и сел за стол, намереваясь написать пару писем, но потом вдруг передумал и велел принести большую чашку кофею.

«Зачем этому болвану знать про желчегонную болезнь? – думал он с раздражением, помешивая кофе. – В тридцать лет не болеют желчным пузырем. И почему я сказал ему про кровопускание? По привычке...»

Что умел Лесток делать отменно – так это цускать кровь. Пиявок он не признавал. Легкий удар ланцетом, гнилая кровь спускается в таз, и облегченный организм сам легко перебарывает болезнь. Многие годы он пользовался привилегией пускать кровь только особам царской семьи.

«Рудомет» ее величества! Вхож к государыне днем и ночью, а это значит – любой разговор доступен. Он пользовался неограниченным доверием Елизаветы еще и потому, что был в числе немногих, кто посадил ее на престол.

Но прошли те времена, когда Лесток был советником в государственных делах, вел самые тайные переговоры и хоть дорогой ценой – взятки в те благодные времена назывались пенсией, – но добивался успеха там, где другой отступился бы, считая дело невозможным.

Француз Лесток хотел служить Франции, не напрямую, конечно, боже избавь. Ему нужна была дружба, самая тесная дружба между Францией и Россией. При такой ситуации он был бы на первых ролях в государстве.

Пять лет назад французскую политику в России представлял маркиз Шетарди. Кроме обязанностей посла, в его задачу входило всеми силами ослабить Россию, дабы не вмешивалась она в политику Европы и не диктовала своих условий. Воцарение на престол Елизаветы тоже произошло не без участия Шетарди. Вдохновленные успехами, маркиз и его правая рука Лесток были уверены, что смогут навязать России политику, угодную Франции.

Все поломал Бестужев. Из-за него, тогда еще вице-канцлера, Шетарди не смог помешать России заключить мир со Швецией на выгодных для Франции условиях и был со скандалом отозван в Париж.

Получив нареkanie от кардинала Флери, фактического правителя Франции, Шетарди решил взять реванш и отправился в Россию второй раз, уже как частное лицо. Он не мог поверить, что не вернет расположение императрицы. Тем более (вопрос крайне деликатный) Елизавета не была равнодушна к чарам красавца маркиза. Балы, танцы, карточная игра – все было пущено в ход. Шетарди сопровождал государыню на молебны, ездил с ней в Троице-Сергиеву лавру, а поскольку Елизавета ходила в святые места пешком, путь этот занял не один день.

Ошибка Шетарди состояла в том, что, не получая желаемого, то есть активного улучшения отношений России с Францией, он позволил себе в дипломатических депешах беззастенчиво жаловаться на Елизавету: она и ленива, и беспечна, и беспорядочна, помешана на своей красоте, чулках да бантах... Депешы попали на стол Бестужева, как и прочая дипломатическая почта, были расшифрованы, отсортированы, подобраны в нужном порядке и поданы государыне.

Шетарди был выслан из России в двадцать четыре часа. В документах сохранилась эта дата – 6 июня 1744 года. На квартиру Шетарди явились генерал Ушаков, князь Петр Голицын и чиновники Иностранной коллегии Неплюев и Веселовский. Они объявили Шетарди

волю императрицы. Маркиз не поверил, изволил артачиться, тогда ему предъявили экстракты из его же собственных писем. Под конвоем из шести человек Шетарди повезли к границе. Последнее испытание ждало его в Новгороде. Специальный курьер с депешей от Бестужева потребовал, чтобы он вернул подарок государыни – усыпанную алмазами табакерку с ее портретом. Сей подарок Шетарди получил из царственных рук в самые дорогие для него минуты, в шелковом шатре, где он провел ночь с Елизаветой во время богомолья. Шетарди решил, что это подвох, что Бестужев нарочно хочет вырвать у него изображение государыни, чтобы потом вероломно сообщить Елизавете, что он сам отказался от дорогого подарка.

Шетарди не отдал табакерку курьеру, сказав, что оставил ее на петербургской квартире, а сам тайно переправил ее Лестоку с надлежащими указаниями. Мы бы не останавливались на этой мелочи столь подробно, если б табакерка не сыграла в нашем повествовании отведенную ей историей роль.

А пока она лежит под замком в кабинете Лестока, напоминая каждый раз о страшном поражении, которое потерпела в России французская политика. После падения Шетарди Лесток потерял прежнее влияние при дворе. Теперь Бестужев мог нашептать государыне все, что ему заблагорассудится, и в конце концов состоялся разговор, который можно было предвидеть. Бестужев всегда обвинял Лестока, что тот берет взятки и от французов, и от пруссаков, то есть от всех, кто ему их предлагает. Знала об этом и Елизавета, но смотрела на иностранный пенсион своего лейб-медика сквозь пальцы. Пусть уж лучше получает чужие деньги (не обеднеют там – в Европе), чем грабит русскую казну. Но на этот раз канцлер сумел убедить Елизавету, что подобная неразборчивость в выборе средств Лестоком – вещь опасная. Уж кто-кто, а Бестужев умел и логически мыслить, и придать разговору высокий политический смысл.

– Никто не платит деньги просто так, – сказал он государыне. – Кто знает, каких услуг требуют от лейб-медика иностранные министры? – И добавил угрюмо: – В этой ситуации я не могу поручиться за ваше здоровье.

И Елизавета уступила. Видно, пришло время пожертвовать человеком, который когда-то был ее верным другом, советником и, как утверждают некоторые документы, любовником. Лесток сделал последнее кровопускание, получил за это пять тысяч рублей, вдвое больше обычного, и вышел в отставку.

Негодяй канцлер за каждым карточным столом, когда сводил их случай, глядя мимо Лестока, говорил с усмешкой, что-де нет теперь достойных врачей, все неучи и плуты, то ли дело покойный Блюментрост, врач Петра I. Лесток зубами скрежетал от негодования, но не возражал. Придет время, и он свое возьмет!

Блюментрост, врачевавший по методу Парацельса, лечил металлами, и Лесток в свое время даже пробовал у него учиться и делал выписки из рукописного лечебника. Найти теперь эти выписки стоило большого труда, и Шавюзо перевернул груды старых бумаг. Зачем они понадобились Лестоку, он и сам толком не знал, но в глубине души теплилась надежда на внезапный недуг государыни. Новая, неведомая болезнь, и он будет призван, и предложит уже не кровопускание, нет, а совсем новую методику.

Скажем, сердцебиение... Вот оно – толченное в порошок золото давать с рейнским или с водкой коричной по пять зерен. От лихорадки сухотной лечат составы олова, в рвотный порошок входит не только сулема ртутная, но и загадочный «меркуриум дулцие» и еще водка с лягушачьим млеком. Но где их взять, новые заболевания государыни, разве что меланхолическая болезнь и печали, которые хоть и редко, но застигают ее среди пиров и маскарадов.

Лесток не заметил, как стал искать в старых рукописях раздел «Яды». Не для государыни, упаси бог, но уж Бестужеву, доведись ему врачевать, он бы изготовил рецепт, даже если бы ему понадобилось не лягушачье молоко, а птичье. Но «ядов» в записках он не нашел, может, не прилежно учился, а может быть, у Блюментроста не было такого раздела в лечебнике.

Это было год назад. Правда, при дворе и по сию пору к его должности прибавляют приставку «лейб», но это только по старой привычке. Государыню теперь пользует голландец Бургав, а Лесток довольствуется практикой у великой княгини Екатерины и ее царственного супруга. Но Екатерина редко болеет, Петр предпочитает других лекарей, и теперь у Лестока масса свободного времени. День он начинает с проклятия Бестужеву, этим же и кончает его.

Лесток не сдался, нет! Завел дружбу с прусским послом Финкенштейном, присланным в Россию вместо Мардефельда, изгнанного за шпионаж, женился на девице Мангден, с Екатериной он давно нашел общий язык, придворные продолжают быть почтительны... Он может появиться при дворе в любое время суток, вот только в покои государыни не смеет, как прежде, войти без стука. Но отношения у них остались теплые – Елизавета верит в его преданность, верит, несмотря на нашептывания Бестужева.

Сакромозо

Мальтийский рыцарь Сакромозо появился только к вечеру, как раз к ужину, и Лесток пригласил его к столу. Тот охотно согласился – о поваре Лестока ходили по Петербургу легенды.

Рыцарь был молод, хорош собой, во всем, что касалось жизненных благ, обладал отменным вкусом. Благородная бледность лица и надменность его выражения придавали рыцарю загадочность, из-за которой Лесток при каждой встрече одергивал себя: «Друг мой Герман, осторожнее... Этот человек – темная лошадка!»

Сакромозо был прямо напшигван тайнами. При первом их свидании, фактически – знакомстве, рыцарь отвел Лестока за штору и вручил в несколько раз сложенную плотненькую записку, которая оказалась письмом от высланного из России Брюммера, бывшего воспитанника великого князя Петра Федоровича. Брюммер был выслан со скандалом, на имя его был наложен запрет, а теперь в письме он сообщал ничего не значащие банальности. Главным было то, что он рекомендовал господина Сакромозо как человека надежного и порядочного. Но помилуйте, зачем рыцарю Мальтийского ордена рекомендательное письмо, да еще вынутое из потайного кармашка? Двести лет назад родосские рыцари получили у Карла V в ленное владение остров Мальту, дабы защищать в Средиземном море христианский мир от турок и африканских корсаров. Рыцари с честью выполнили возложенную на них задачу, слава Мальтийского ордена столь безупречна, что они не нуждаются в чьей-либо рекомендации, тем более в протекции бывшего обер-гофмаршала голштинского двора. Лестоку пришла в голову мысль, что в недрах модного костюма Сакромозо кармашков не меньше, чем потайных ящиков в бюро, и что если славного рыцаря взять за ноги и потрясти, то на пол посыплются не только записки из Германии или, скажем, Франции, но также от турок и африканских корсаров.

То, что Сакромозо рыцарь, – это ясно, вот только с Мальты ли? Понять бы, чего он добивается, чего хочет? И какая ему может быть выгода от бывшего лейб-медика? Лесток сейчас не та фигура, на которую ставят в большой политической игре. Но очень скоро Лесток понял, что Сакромозо послан ему самим Небом. Рыцарь был как раз тем человеком, через которого можно будет возобновить обрубленные связи с европейскими домами. Только надобно закрутить хорошую интригу и доказать Елизавете, что без его, Лестоковых, услуг ей не обойтись. А если будет чуть-чуть шпионства, так это только во благо России.

Пытаясь запродать себя подороже, Лесток так оформил их отношения, что рыцарь сам искал встреч с лейб-медиком, последнему оставалось только назначить час и место свидания.

Между делом Лесток помог сближению рыцаря с молодым императорским двором. Петр Федорович отнесся к далекой Мальте без должного интереса, зато юная Екатерина была в восторге от экзотического знакомства. Их живые беседы были посвящены тайнам мальтийского рыцарства: «А правда ли, что орден сказочно богат? А какие они – воины-иоанниты? Расскажите! О, расскажите о Великом магистре Ла Валете!» И Сакромозо рассказывал...

В иные минуты Лесток готов был поклясться, что рыцарь видел Мальту только во сне, а сведения о ней почерпнул из книг. Но с другой стороны... «Ах, Герман, – говорил он себе, – не доверяй интуиции, верь факту! Что ты знаешь о ближайших задачах ордена? Понять бы, кому Сакромозо служит!»

Первый их разговор был посвящен Франции. В искусстве тонкой беседы, когда по гостинной порхают сама простота и доброжелательность, когда каждое слово собеседника воспринимают с восторгом и тут же дают понять, как он умен и остроумен, а тот, простак, и распахнет душу – в такой беседе Сакромозо был бесподобен. Но Лесток, старая лиса, сам играл с ним в поддавки. Еще только что говорили о том, как велики сосульки на здании Сената, какой

дивный экипаж у графа Разумовского и как искусно разрисован плафон в прихожей у Анны Алексеевны Хитрово, и вот уже Лесток должен ответить на невинный вопрос:

– Правда ли, что Шетарди в бытность свою в Москве пробил бутылкой голову послу д'Алиону? Говорят, посол прячет под париком огромный шрам.

– Пустое, – рассмеялся Лесток. – У них действительно была ссора. Д'Алион устроил из посольства мелочную лавку, накопил в ней товаров и принялся торговать. Шетарди возмущился этим, вспыхнула ссора, но в ход пошли не бутылки, а шпаги. Дуэли не получилось. Шетарди отвел шпагу рукой и поранил пальцы. Только и всего. Этой истории четыре года, она с бородой.

– Но ведь Шетарди был выслан из России не за дуэль, не правда ли? Он был нескромен. Забыл, бедняга, что почта в России принадлежит Бестужеву, а потому письма его были вскрыты.

– У нас, как и во всяком государстве, есть цензура, – холодно сказал Лесток.

– Конечно, но отношения России и Франции оставляют желать лучшего, – вкрадчиво заметил Сакромозо.

Лесток вздохнул.

– В чем причина? – продолжал Сакромозо. – Неужели государыня Елизавета не могла простить Франции выходки Шетарди? Насколько я знаю, маркиз был примерно наказан дома. И потом, вы сами говорите, эта история с бородой...

«Он служит Франции», – отметил про себя Лесток, вежливо улыбаясь и медля с ответом.

– О! Если вам неприятен вопрос, я не буду неволить вас ответом. В конце концов, не пристало в частной беседе обсуждать политические тайны.

– Никакой тайны здесь нет, – ответил наконец Лесток. – Государыня благоволит к д'Алиону. Но Париж отказывает государыне нашей в императорском титуле. А как же обмениваться дипломатическими нотами при таком неестественном положении? Людовик почему-то уперся, простите, как бык... У него, видимо, нет хороших советчиков.

Лесток не грешил против истины, впоследствии именно эта причина выставлялась как главная при разрыве дипломатических отношений с Францией, но лейб-медик знал, что подобная информация малого стоит. Русские министры не делали тайны из неуважительного отношения Людовика XV к русской императрице.

Второй разговор с Сакромозо произошел в доме прусского посла Финкенштейна, куда Лесток был приглашен на ужин. Встреча с рыцарем была полной неожиданностью, и как-то само собой получилось, что они уединились, пошли вдвоем смотреть персидские миниатюры. Оба, как выяснилось, были большие охотники до этого вида искусства – не корми, не пои, на месяц отлучи от карт, только дай всласть полюбоваться персидскими миниатюрами. Однако в отдаленной гостиной старые фолианты с персами были забыты, разговор прыгнул на лаковую живопись, вспомнили Монплеизр, любимый дворец Петра.

– А правда ли, что Петр Великий выменял у прусского короля Вильгельма, батюшки ныне правящего Фридриха, отряд гренадер на кенигсбергский янтарь?

– Святая правда, – согласился Лесток. – Янтарь понадобился государю для отделки кабинета. Вы его видели? Янтарная комната – теперь гордость Петровского дворца.

«Он служит Пруссии, – с уверенностью подумал Лесток. – Как ловко он подобрался к сути вопроса!»

Старая тяжба Елизаветы с Фридрихом о возвращении солдат-великанов на родину вошла сейчас в новую стадию. Кроме гренадер, отданных на чужбину Петром, государыня пеклась о солдатах, попавших в Пруссию при содействии Анны Иоанновны. Елизавета говорила при этом высокие слова, но Лесток понимал, главное в этой тяжбе – насолить Надиршаху, как прозвала Елизавета Фридриха, доказать этому прусскому вандалу, что не все ему позволено.

– Государыня желает сейчас вернуть на родину своих солдат, – значительно сказал Лесток, понимая, что именно этой фразы ждет от него рыцарь.

– Но зачем?

– Как зачем? Из человеколюбия. Старые воины не могут отправлять в лютеранской Германии свои православные обряды.

– Но ведь совершали же. – Глаза Сакромозо смеялись. – Отчего же теперь не могут?

Лесток оставил последнее замечание рыцаря без ответа и мельком глянул на его руки. Лицо его было бесстрастно, поза непринужденна, но руки выдали его глубокий интерес. Очень подвижные, холеные, с длинными пальцами и розовыми ногтями, они жили своей жизнью – любопытствовали, недоумевали, удивлялись, а иногда и верили.

Интересно, о чем его сегодня будет выспрашивать рыцарь? Сладкое мясо ягненка, куропатки с трюфелями и гусиная, вымоченная в меду и молоке печенка – прелесть какой паштет готовил из нее повар – помогут хорошо спланировать беседу.

Пока шли от кабинета в столовую, разговор коснулся предстоящего маскарада.

– Я не поеду туда, – несколько капризно заметил Лесток. – Государыня знает, что я нездоров.

– Вы тоже больны, сударь? – участливо вскричал Сакромозо. – Только поднялась от болезни великая княгиня, как лихорадка свалила вас! Уж не заразились ли вы гнилой лихорадкой? Вам надо лежать, а я мучу вас своим визитом!

– Нет, нет... Я вполне пригоден для общения. И будьте спокойны, моя болезнь не заразна. Просто... разыгралась желчегонная болезнь.

Лесток не хотел ехать на бал, дабы не сидеть за карточным столом рядом с Бестужевым. Последнее время один вид канцлера – подозрительный и мрачный – вызывал в Лестоке такую ненависть, что у него и впрямь начиналась изжога.

Пока лакей наполнял куверты вином и обносил салатом, рыцарь продолжал сокрушаться по поводу гнилой лихорадки, которая косит всю Европу, но как только они остались вдвоем, без обиняков спросил:

– И как продвигается дело с возвращением русских солдат?

– Никак не продвигается, – несколько удивленно ответил Лесток, считая эту тему закрытой. – Такие вещи не решаются в один день.

– Не отдает Фридрих солдат? – понимающе рассмеялся рыцарь, и Лесток понял, что Сакромозо известна эта история во всех подробностях.

– Король прусский утверждает, что гренадеры сами не хотят возвращаться на родину, мол, они там в, Германии, семьями обзавелись. У некоторых даже внуки.

– Их можно понять, – утирая рот салфеткой, проговорил рыцарь. – Зачем им возвращаться в эту варварскую страну? Чтобы воевать со своими детьми и внуками?

– Почему воевать? В России, слава богу, пока мир.

– Мир? – искренне удивился Сакромозо. – А за какой надобностью тогда двинулась за пределы России армия князя Репнина? Какие другие планы могут быть у армии, кроме войны?

– Ну... тридцать тысяч – это еще не армия, – бросил Лесток и понял, что попал в цель.

Сакромозо сразу принял безразличный вид и даже спрятал руки под стол, но и без этой азбуки Лесток увидел – численность войска его весьма интересует.

«На этом и будем строить игру, – подумал Лесток. – Ему нужна армия, а кому он запродаст эти сведения – время покажет».

Сакромозо стал вдруг очень серьезен, почти торжествен.

– Перед отъездом в Россию я был на приеме их величества короля Пруссии. Беседа была частной, но весьма плодотворной. Мальтийский орден принимает близко к сердцу дела Европы, и в частности – сложные отношения, возникшие между прусским и русским дворами.

Лесток понимающе кивнул, пригубил вино.

– В разговоре было упомянуто и ваше имя.

– Фридрих передал мне привет? – весело спросил Лесток, но Сакромозо не отреагировал на шутку.

– Их величество король Фридрих помянул о ваших заслугах в делах мира и понимания в отношениях прусско-русских и уполномочил меня передать вам старый долг – пенсию размером в десять тысяч ефимков.

«Ну и скор молодец!» – ахнул про себя Лесток. Ему очень хотелось спросить: «Деньги при вас?» – но вместо этого он сказал подчеркнуто вежливо:

– В какой форме мне передать благодарность королю Фридриху – письменно или на словах?

– На словах, – без тени улыбки ответил Сакромозо.

Они отлично понимали друг друга.

На сладкое был дивный ореховый торт, украшенный цукатами и инжиром. В отсутствие рыцаря Лесток отпробовал бы добрую половину этого кулинарного чуда, но здесь он решил быть сдержанным.

Рыцарь с отвлеченным видом выковыривал из ломтика торта грецкие орехи.

– Вчера у меня случился разговор с голландским посланником Шварцем, – сказал он наконец, делая какой-то неопределенный жест рукой, словно закручивая ее спиралью. – Посланник негодует, что армия Репнина застряла в Гродно. Репнин что – болен?

– Генерал-фельдцейхмейстер не столько болен, сколько стар, – с готовностью ответил Лесток. – Армия действительно три недели проторчала в Гродно, но теперь она заметно продвинулась. К местечку Гура... это в десяти верстах от Гродно. А по договору с союзниками армия должна была на исходе апреля быть уже в австрийских владениях. А что барон Претлак? Вы с ним не разговаривали? Тоже, должно быть, негодует. А лорд Гринфред?

Претлак был австрийским посланником, Гринфред – английским. Привлекая к разговору Австрию и Англию, Лесток расставлял все знаки препинания, называя союзников.

– В Лондоне каждый день высчитывают, сколько миль в сутки проходит русская армия, – продолжал он насмешливо, словно и не разглашал государственной тайны, а мило острил по поводу человеческой глупости. – По моим сведениям, если пройденные мили разделить на дни, то получится, что наша армия уже повернула назад.

– А это возможно? – быстро спросил Сакромозо.

– Ни в коем случае! Она идет к Рейну. Зачем? Ах, сударь, я думаю, об этом не знает даже Господь Бог, настолько все запутал канцлер Бестужев. В Иностранной коллегии запротоколированы все его противоречивые указания.

– В Иностранной коллегии?

– А где же еще? Этим занимаются тайный советник Веселовский, а также генерал-фельдмаршал Леси, вице-канцлер Воронцов и кriegс-комиссар Апраксин. Армия идет через Литву на Краков, затем в Силезию. Идет одной дорогой, разделившись на три колонны. Платят, а также обеспечивают продуктами и фуражом англичане. Считается, что армия идет для восстановления мира в Европе. Однако, – Лесток поднял палец, – если для восстановления мира понадобится еще одна война, Россия пойдет на это, естественно, вместе с союзниками.

– С кем именно?

– По обстоятельствам, мой друг, – вздохнул Лесток и подивился внутренне, как естественно он называл Сакромозо своим другом. – Одного боюсь, что Бестужев задержит продвижение нашей армии и этим спасет ее от неминуемого поражения.

Рыцарь долго смеялся над удачной остротой, которая через день полностью вошла в депешу прусского посла своему государю в Потсдам. На все вопросы в этот вечер рыцарь получил ответ, время следующей встречи оговорил и заручился обещаниями кое-что узнать,

вернее, уточнить даты. Ах, лейб-медик, налицо шпионская деятельность, но более всего Лесток пострадал именно за остроту в депеше Финкенштейна, которая была расшифрована в кабинете Бестужева, переписана и тяжелым грузом осела в досье на Лестока, которое собиралось канцлером уже много лет.

Софья

На правом берегу Невы, выше впадения в нее Фонтанной речки, размещался район города, называемый ранее Московской стороной и переименованный впоследствии в Литейный по имени заводика, занимавшегося литьем пушек. Первоначально этот район города был задуман как аристократический, и Первой Береговой улице, по замыслу Петра, надлежало стать главной магистралью Северной столицы. Архитектор Трезини строго распланировал улицы, вдоль набережной один за другим выросли дворцы для родственников Петра и самых именитых сановников. Здесь поселились Наталья Алексеевна – любимая сестра царя, и сын его, Алексей Петрович, тогда еще наследник, и Марфа Матвеевна – вдовствующая государыня, супруга покойного Федора Алексеевича, и любимец царя Юрюс – генерал-фельдцейхмейстер и директор литейного завода. Дальше к Смоленскому двору находился дом обер-гофмаршала Левенвольде и роскошные палаты Кикина.

Жизнь кипела в Московской стороне, но время забирает всех. Разной смертью ушли в мир иной обитатели аристократического квартала. Центр Петербурга переместился, и Литейная сторона зажила новой, трудовой и озабоченной жизнью.

Дворец Натальи Алексеевны со всеми подворьями был занят Канцелярией от строений и мастерскими департамента. Дом Алексея Петровича перешел в ведение Дворцовой канцелярии, в нем стали варить различные напитки для царского дома. В палатах покойной Марфы Матвеевны поселились архитекторы, в бывших амбарах оборудовали печи, и скульптор Растрелли принялся за отливку конной статуи императора. Палаты Кикина были отданы под Морскую академию, в которой проходили курс кадеты и гардемарины.

Словом, сейчас, двадцать три года спустя после смерти Петра Великого, Литейная сторона совершенно изменилась против первоначального плана. Указ «строить дома вплоть нити, натянутой между вежами», здесь уже не соблюдался. В былые времена нарушителей, чей особняк выпирал из ряда, или, наоборот, пятился в глубь улицы, или, еще того хуже, – прятался за забором, мало того что штрафовали, так еще лишали построенного жилья.

Теперь же всюду царствовала живопись почти московская. Искрошив границы площадей, выстроились какие-то склады, палатки, пакгаузы, боком примкнули к улице какие-то новые рубленые хоромы, разрослась молодая роща, поглотив останки разрушенного, кое-где еще блестящего позолотой мазанкового дворца, сами собой бестолково и не к месту выросли заборы, вдоль них поднялся пышный пырей и прочий бурьян. Улицы стали изгибисты и вихлявы, пробираться по ним в карете стало сущим мучением, не забывайте еще про топкую, пропитанную влагой почву. Ближе к Фонтанке разместились убогая слобода мастерового люда с хижинами, крытыми соломой и дранкой, рынок, прозванный Пустым, и, наконец, Литейный завод с башнями и шпилями на них, которые наперекор окружающему пейзажу имели экзотический восточный вид.

По соседству с Канцелярией от строений за типовым забором (впрочем, слово «типовой» тогда не применялось, говорили «повторный») разместился каменный двухэтажный дом с высокой, с изломом кровлей и крыльцом по центру. Дом этот с садом и подворьями был откуплен у Канцелярии неким весьма богатым иностранцем – ювелиром Луиджи, работавшим украшения для дворца ее величества. Венецианец Луиджи займет особое место в нашем повествовании, а пока лишь скажем, что он же является хозяином небольшого флигелька с мезонином, стоящего в глубине сада.

Флигелек два года назад был снят мичманом Корсаком с семейством. Дом этот, может быть, и не отвечал всем запросам молодого мичмана: он был мал и отнюдь не дешев, по весне подвалы его заливала талая вода, плодя целые сонмы лютых комаров, но сад и некая изоляция от большого города пленили жену его Софью и маменьку Веру Константиновну. Сам мичман

находил удобство в том, что буквально в двух шагах находилась пристань, к которой могли подходить катера, верейки и рябики. Кроме того, Морская академия была рядом.

В академии Алексей Корсак учился два последних курса, имел хорошие отношения с преподавателями, посему, хоть и служил теперь на флоте, был в палатах Кикина частым гостем.

Спроси у Софьи любой – счастлива ли она в браке? – о, конечно, другого ответа нет и быть не может! У нее лучшие в мире дети, Николеньке уже четыре года, Лизонька – прелестный младенец. Вера Константиновна – почти примерная свекровь. Время не охладило Алешиных чувств, не убавило нежности, и Софья ни в коем случае не завидует женам сухопутных мужей, которые видят своих супругов каждый день или хотя бы каждую неделю. Она жена моряка, и этим все сказано.

Но одно дело, когда моряк в плавании, торговом или географическом, или, скажем, держава воюет. Но если флот русский пребывает в состоянии постоянного ремонта, если чинят его и зимой и летом, то можно, кажется, выкроить время для семьи. Три года Алеша с хмурым и решительным видом твердил, что эскадра давно бы вышла в море, если б не равнодушные Адмиралтейства, не происки чиновников в Военной коллегии; он месяцами пропадал в Кронштадте, словно купец, занимался покупкой такелажа и леса для мачт, а потом и вовсе отбыл в безвременную командировку в порт Регервик бить сваи. Теперь пишет письма и в каждом заверяет, что если к следующему месяцу не вернется, то непременно заберет Софью с детьми к себе. А зачем ей в Регервик, если и в Петербурге хорошо?

Вера Константиновна, в отличие от Софьи, ко всему относилась спокойно. Удел мужчин – служить, удел женщин – ждать, она давно привыкла к отсутствию сына. На старости лет Господь подарил ей семью и сподобил жить в столице! Петербург поражал ее воображение. Проживя всю жизнь в псковской глуши, она не переставала восхищаться славным городом и удобством его быта, а что касемо погоды и угрозы наводнения, то все в воле Господней, а дождь – тоже Божья роса.

Внуки ее забавляли, но она не вмешивалась в их воспитание, не ссорилась с няньками, не выговаривала Софье, что гуляют много и лекарь у детей плох. Вера Константиновна вела хозяйство, и, хоть в доме милостью благодетеля Софьи князя Черкасского был полный достаток, можно даже сказать – богатство, она экономила на каждой мелочи, находя невинную радость в том, чтобы набивать чулок монетами разного достоинства – «на черный день». Она сама ходила со служанкой на Пустой рынок, отчаянно торговалась в мясных рядах, и в овощных, и в рыбных, но совершенно теряла бдительность в посудной лавке, которая торговала раз в неделю.

При виде пузатого молочника с цветком-колокольчиком, или лопатки для пирога с длинным стеблем и львиной рожей на конце, или старинной чары в виде лебедя она забывала, что «черный день» вполне может обойтись без подобных излишеств. Принеся посуду домой, она прятала ее в шкафчик под ключ, а потом, краснея как девица и кляня себя за расточительность, показывала покупки Софье. Та пожимала плечами: «Нравится, маменька, так и покупайте». Не таких слов ждала она от невестки. Софья должна была восхититься, потом узнать цену, потом порадоваться удаче, потом намекнуть: а не безумство ли это – тратить деньги на безделицы, и, наконец, простить свекровь из любви к искусству. Равнодушие Софьи обижало, и Вера Константиновна зарекалась – полушки медной не тратить больше на красоту! Но через неделю она попадала в посудную лавку, и все начиналось сначала.

Словом, жизнь в семействе Корсаков была тихая, размеренная, и, направляясь во флигель под кленами, Никита Оленев вполне предвидел, как трудно будет уговорить Софью поехать с ним на маскарад. Алеша аккуратно писал другу и в каждом письме непременно просил позаботиться о жене. Свою заботу Никита видел не только в том, чтобы справиться о хозяйственных нуждах и предложить свою помощь, но и в необходимости развлечь Софью, если представится случай.

Бал-маскарад в Зимнем дворце, что может быть восхитительнее! Там будут петь итальянцы и представлять живые сцены, сама государыня, наследник и великая княгиня представлены перед публикой в маскарадных костюмах, весь Петербург будет там.

Время от времени Никита опускал руку в карман и ощупывал пригласительный билет, отпечатанный в Дрездене на атласной бумаге, украшенной причудливым рисунком. Билет с великим трудом достала во дворце Анастасия – Саша не забыл просьбы друга.

Сзади раздался гортанный крик, Никита поспешно отступил в сторону. На мост выскочила карета, и он увидел в окошке лицо мужчины, показавшееся ему знакомым. Встретившись с Никитой глазами, мужчина поспешно задернул штору, словно намереваясь скрыть от постороннего взгляда соседа в треуголке.

Карета благополучно миновала мост, выскочила на мощенную деревянными плашками мостовую и вдруг – трах! Колесо попало в выбоину, и тут же, как на грех, подвернулся камень. Если бы не мастерство кучера, карета непременно завалилась бы набок. А здесь она каким-то чудом остановилась, и только колесо, соскочив с оси, продолжало самостоятельно катиться, поспешая к месту назначения.

«Ах, ох, тудить тебя» и прочий набор междометий! Кучер поймал колесо и застыл около кареты, почесывая затылок, – одному, пожалуй, не управиться.

Из кареты вышли двое, обругали кучера, но сдержанно, не по-русски, и быстро пошли прочь от кареты. На ходу тот, что задергивал штору, оглянулся, и Никита его наконец узнал.

Дворянин, приехавший в Россию по делам купеческим, – Ханс Леонард Гольденберг. Это был первый иностранец, кому Никита оформлял паспорт, и, конечно, он не запомнил бы Ханса, если бы обер-секретарь не торопил, прямо бумагу из рук рвал – скорей, дело важное. У Гольденберга была запоминающаяся примета – правая бровь рассечена шрамом и вздернута, словно в усмешке.

Кучер, смачно ругаясь, ставил колесо, вокруг собрались зеваки. Спутника Гольденберга, высокого красавца в подбитом мехом плаще и треуголке с позументом, Никита раньше не видел. А почему, собственно, красавца? Может, у него нос длинный, как морковь, и косолазие – что скажешь о человеке, видя его только со спины. Но рост, посадка головы, походка – все выдавало в незнакомце породу.

Никита выпрямился, подобрав живот, изящным движением поправил шляпу и, копируя походку незнакомца, легко зашагал за ними вслед. Вот как нужно ходить! Тогда хоть со спины, но каждый скажет – вот красавец пошел...

Видимо, двум мужчинам показалось, что их преследуют. Они прибавили шаг, а потом резко свернули за угол.

Никита рассмеялся, позволил себе расслабиться и своей обычной походкой вошел в калитку сада господина Луиджи.

Софья очень обрадовалась его приходу, потащила в детскую, наказала кухарке увеличить вдвое количество блюд к обеду – у нас гость дорогой! Но когда она услышала про маскарад – категорически сказала «нет». Никита вздохнул и принялся уговаривать.

Софья слушала его насупившись. Куда ехать, если у Николеньки горло красное, а Лизонька с утра капризничает! И потом, с чего он взял, что она жертвует собой ради дома? Жертва – это когда на костер идешь, когда во имя чего-то высокого жизни не жалеешь, а отказ от всей этой мишуры – бала, танцев, помилуйте, это просто исполнение материнского долга.

Тогда Никита повернул разговор на боковую тропочку, как бы к Софье отношения не имеющую...

– Голубчик мой Софья, пойми... Ты обяжешь меня на всю жизнь! Билет на две персоны. Я не могу поехать во дворец без дамы!

С таинственным видом он начал намекать на некую интригу, в которой Софья могла бы ему помочь, говорил, что она должна заменить на балу Алешку, который уж точно никогда не отказал бы другу.

– Но я замужняя дама, я не могу ехать во дворец с посторонним мужчиной!

– Это я-то посторонний?

– Я никогда не была в императорском дворце. Я не представлена ко двору!

– Я тоже не был. Я тоже не представлен. Что из того? Маскарад не признает условностей!

Дело решила Вера Константиновна. Она явилась в комнату, постояла в дверях, слушая их перепалку, и сказала решительно:

– Непременно надо ехать. Это такая удача – билет во дворец. Если Софья не поедет, бери, Никита-друг, меня. Уж я-то найду, чем заняться на маскараде. – Она вскинула голову и ушла на кухню следить за кухаркой, чтоб та не извела лишних продуктов.

– А костюм?

Никита понял, что барьеры пали.

– Через полчаса сюда приедут Сашка с Анастасией и привезут роскошный костюм!

При упоминании о Белове Софья слегка нахмурилась. Нельзя сказать, чтобы она недолюбливала Сашу, скорее просто стеснялась – уж очень он был в себе уверен и еще скрытен, еще напыщен, а потом эта дурацкая манера острить и все осмеивать! Право, его насмешливость касалась до всего, он мог ерничать даже по поводу детских болезней. А его отношения с Алешей... «Твоя приверженность русскому флоту просто смешна, – так он говорил. – Это безрассудство – любить то, чего нет!» Алеша относился к подобным замечаниям со смехом, он вообще прощал Саше любые слова и выходки, но Софья их прощать не хотела.

Другое дело – его жена. Ее нельзя было назвать подругой, слишком они были разные, да и виделись крайне редко, но Анастасия любила их флигелек, часами могла слушать о детях, и Софья забывала, что она гордячка, что приближена к государыне и ведет жизнь, совершенно отличную от ее собственной.

Саша приехал один, был сух, официален, сказал, что Анастасии не удалось вырваться из дворца и что она их там встретит. Нахмуренное лицо его как нельзя лучше шло к чопорному испанскому костюму, состоящему из атласной, подбитой ватой куртки с невероятно узкой – не вздохнуть – талией и коротких штанов.

Костюм Никиты не имел названия, что-то средневековое, скажем, из жизни алхимиков: бархатный плащ, берет с длинными, поднятыми вверх краями и черная маска-лорнет.

– А повеселее ничего не было? – спросил Никита, примеряя берет.

– А чего тебе веселиться? – недовольно пробурчал Саша. – Ты мизантроп. И попробуй подобрать костюм на твой рост? А в этом берете ты похож на Эразма Роттердамского.

– Такой же умный... – Никита скорчил рожу в зеркале.

Но Софья... Приняв трепетными руками коробку с костюмом, она надолго исчезла из комнаты, а потом появилась в чем-то красном, сверкающем, флорентийском или венецианском, словом, что-то из эпохи Ренессанса. Голову ее украшал замысловато повязанный прозрачный шарф с ниспадающими на плечи концами, на висках туго, как пружинки, вились локоны. Эта прическа делала ее похожей на одну из итальянских мадонн, а слабая озабоченность большим горлом Николеньки и капризами Лизоньки и, конечно, раскаяние, что она идет куда-то без мужа, выражались чуть заметной складочкой меж бровей, делая ее строгой и по-царски неприступной.

– Богиня! – развел руками Никита.

– Вам очень идет этот костюм, – согласился Саша, и в голосе его не было и тени насмешки, а только улыбка и восхищение.

Пестрая тройца вышла в сад, смеясь и разговаривая. Когда они подошли к дому Луиджи, створка окна на втором этаже внезапно растворилась и Саша встретился глазами с обладательницей черных глаз и темных локонов, перевязанных желтой лентой.

– Какая пригожая девица!

– Где пригожая девица? – встрепенулся Никита. – Обожаю смотреть на пригожих девиц. Однако в окне уже никого не было.

– Наверное, это Мария, дочь Луиджи, – сказала Софья. – Она недавно приехала из Италии, из какого-то монастыря. Такая скромница... – добавила она насмешливо. – Воображаю, как удивил ее наш вид.

Они обогнули дом. Этого времени оказалось достаточно, чтобы Мария накинула мантилью, бросила взгляд в зеркало, сбегала вниз по лестнице, выскочила в сад, а затем, едва сдерживая дыхание, чинно, как бы гуляя, проследовала навстречу Софье и ее гостям.

– А вот и она, – негромко рассмеялась Софья. – Мария, добрый вечер! Позвольте представить вам моих друзей...

Испанец Белов щелкнул каблуками неудобных туфель. Эразм Роттердамский, он же Никита Оленев, склонился в поклоне, помахивая беретом, словно пыль с дорожки сдувал перед очаровательной девицей. Мария присела, лукаво тараща на него округленные глаза.

– Мне кажется, я вас где-то видел... – нерешительно промямлил Никита.

– Я тогда была как мокрая курица, которую сунули в прорубь, – с удовольствием согласилась Мария. – Я вас сразу узнала. У меня остался ваш плащ. Я принесу... – Она сделала стремительное движение, но Софья удержала ее.

– В другой раз, – сказала она непреклонно. – Никита – частый гость в моем доме.

– Да, да... А сейчас мы спешим на маскарад во дворец. – У Марии было такое выражение лица, что Никита невольно говорил извиняющимся тоном.

Он не мог знать, что юная Мария, волнуясь и споря с собой, целых три часа, если не больше, не отходила от окна, ожидая его выхода из флигеля Корсаков. Кажется, чего проще, пойти к Софье и узнать, за какой такой надобой явился сюда красивый молодой человек. Но она не смогла этого сделать – ноги не шли. Что это – случай? Или он каким-то неведомым способом отыскал ее в огромном городе? Но все это не важно! Главное, что судьба-скупердяйка на этот раз расщедрилась.

У калитки Никита оглянулся и приветливо помахал девушке рукой.

– Мы еще встретимся, – прошептала Мария негромко.

Маскарад

Парадный подъезд дворца был ярко освещен факелами. Карет было великое множество: больших и малых, скромных, кое-как покрашенных, и роскошных, обитых бархатом с золотой бахромою, с вертикальными стеклами, с кучерами в буклях и треуголках, гайдуками и скороходами с традиционными булавами в руке. Скороходы в шапочках, курточках с бантиками явно мерзли и жались к лошадям, пытаясь похитить у них лишнее тепло...

Суэта, смех, разговоры... Дамы сбрасывали теплые плащи и епанчи прямо в каретах, феями выпархивали на мостовую, вскрикивая от восторга и холода, – второе мая на дворе, – а затем исчезали за высокими деревьями. Гвардейский караул нынче пропускал всех, и уже внутри, в большом вестибюле, приглашенные предъявляли билеты.

Маскарады были любимым развлечением государыни Елизаветы, и она привила эту любовь вначале двору, а позднее и всему Петербургу, вменив особам двух первых классов давать поочередно костюмированные балы.

Самые первые маскарады назывались «метаморфозы», и их суть состояла в наивном и веселом переодевании мужчин в женские костюмы, а женщин в мужские. Государыне очень шел узкий мундир, который подчеркивал талию и крутые бедра, ботфорты удлинляли ноги, и во всем ее облике появлялось что-то озорное, юное. А как забавно выглядели ряженные старички и старушки, целый вечер можно было, надрываясь от смеха, рассматривать их нелепые фигуры и кособокую походку. Не являться на маскарад по именному приглашению было никак нельзя, мало того что штраф за неявку высок, но еще и боялись обидеть государыню. Лучше пусть хохочет, чем хмурится.

Позднее стали придумывать самые богатые и изысканные маскарадные костюмы. Завелись специальные мастерские, и, наконец, появились публичные маскарады. Итальянец Локатели стал арендовать обширные помещения, в коих ставил оперы и устраивал маскарадные вечера. Накануне Невская перспектива пестрела афишами: «Сим объявляется, что для удовольствия знатного дворянства и прочего здешнего столичного города жителей...» Для обучения танцеванию дворянская молодежь посещала платные уроки, где постигала тайны изящного движения в «миноветах, контрдансах и верхних танцах».

Кроме танцевания, дворян учили, как поклониться, опрыскаться духами, вернее, душистой водой, как пользоваться вилок и нести в руках шляпу, чтобы с помощью оной показать свою воспитанность и галантность.

Но самые торжественные и богатые маскарады давала сама государыня. На этот раз бал устраивался в только что отстроенной части деревянного Зимнего дворца, где, по рассказам очевидцев, были роскошно декорированы залы и имелись новомодные немецкие сюрпризы. Обыватели долго ломали головы, что это за сюрпризы такие.

В танцевальной зале уже гремела музыка полкового его величества Петра Федоровича оркестра, который должен был смениться со временем виолами и альтами.

Анастасия – действительная статс-дама из свиты государыни – встречала именитых гостей. Издали увидев мужа, она подошла к их компании, расцеловалась с Софьей, чуть присела в подобии книксена перед Никитой.

Костюм ее назывался «Ночь»: черная, затканная серебром юбка была украшена фольговыми звездами, маску заменяла черная вуаль, прикрепленная звездочками к лентам прически, которая была истинным чудом куаферного искусства и носила интригующее название «бандо д'амур», что значит «повязка любви».

Саша не посмел поцеловать жену на виду у публики, которая все замечает и не терпит откровенных вольностей. Он только пожал ей руку и шепнул участливо:

– Устала?

– Устала, милый. Я давно устала, – отозвалась Анастасия, кланяясь кому-то с очаровательной улыбкой. – Государыня не в духе. На всех кричит. Санти отчитала, как мальчишку.

Франсуа Санти, пьемонтец, занимавший при дворе Елизаветы высшую должность обер-церемониймейстера, был человеком весьма уверенным в себе. Весельем и остроумием он всегда умел завоевать расположение Елизаветы, и уж если на нем она решила сорвать зло, то дело, которое ее рассердило, было серьезным.

– За что отчитала? – прошептал Саша, нежно глядя на Анастасию, уж ей-то, наверное, досталось больше, чем другим.

– Потом. Сейчас идите в залу.

– В чем будет государыня?

– Голландский шкипер.

– А великая княгиня?

– Кто ж знает, в чем будет великая княгиня? – с досадой отозвалась Анастасия. – Из-за нее у нас сегодня и случился весь этот сыр-бор. Из-за ее непослушания... Ты что на меня так испуганно смотришь? – обратилась она вдруг к Софье. – Вас это совсем не касается. Никита, развесели Софью. – Она погрозила ему пальцем и вдруг, уловив знак обер-гофмейстерины, стремительно сорвалась с места и почти бегом, высоко подбирая юбку, устремилась в противоположный угол вестибюля.

– Узнай про великую княгиню, – шепнул Никита Саше, – узнай, я тебя заклинаю! – И повел Софью вверх по лестнице.

Как описать блеск и великолепие царского дворца? Лепнина карнизов, французские мебели, гобелены, хрустальные жирандоли и зеркала всюду, которые удваивали, утраивали, удесятеряли пространство, и казалось, оно не имело границ. В каждом зеркале отражались свечи и отражения свечей, и еще раз жирандоли, и вот уже не одна ваза с нарисованной на ней яркой птицей, а целая стая птиц мечется в отраженном мире, и хоровод китайских фонарей в виде пагоды, а сверху, с плафона, заглядывает любопытствующий грифон, нет, три грифона, а еще маски, ряженные, феи, и, кажется, сам смех и разговоры их тоже отражаются в зеркалах, превращаясь в какофонию звуков.

Видя полную растерянность и смущение своей спутницы, Никита принялся за отвлеченный рассказ, пытаясь объяснить Софье происхождение слова «бал».

– Это немецкий обычай. Бал – всего лишь мяч, понимаешь? Крестьянки на Пасху дарили своим недавно вышедшим замуж подружкам сплетенный из шерсти мяч.

– А зачем им его дарили? – машинально спросила Софья, никак не вникая в смысл его слов.

– Ну... это просто символ. Если тебе дарят мяч, ты должна устроить угощение и танцы.

– Но у меня нет с собой денег, – испугалась Софья.

Никита рассмеялся:

– Это просто обычай такой. Здесь нас накормят задаром.

– Ты прости, Никита, я ничего не понимаю. Ты мне потом расскажешь. Ладно? – взмолилась Софья и замерла: перед ними был танцевальный, полный народу и музыки зал.

Кавалеры и дамы уже выстроились в две шеренги. Пьемонтец Санти – маленький, важный, роскошный, взмахнул рукой, и тут же на нежнейшей ноте запели альты. Дамы присели в глубоком реверансе, кавалеры склонились в поклоне, а затем, возглавляемые придворным балетмейстером Ланде, поплыли в благопристойном менуэте. Об этом прекрасном танце недавно говорили – нижняя часть порхает, верхняя плывет.

Никита только успел пробежать глазами по зале, найти в числе танцующих Сашу и Анастасию, как Софью увел в танце долговязый и печальный юноша в трико Амура и с крылышками за спиной.

Государыня тоже танцевала. Благодаря подсказке Анастасии Никита сразу увидел голландского шкипера. Простонародный этот костюм так ловко сидел на государыне, шерсть камзола была так благородно ворсиста, что понятно было – здесь не обошлось без знакомого купца, который поставлял лучшие товары из-за границы.

Елизавета не любила этикета, не желала быть узнанной, и приглашенные, которые тут же осведомлялись, в каком она будет костюме, выказывали свое уважение в странной и подбострастной манере. Вроде бы и кланяться нельзя, а ноги сами подгибаются. Но Елизавета не замечала всех этих странных ужимок. Это маскарад, а не какая-нибудь скучная ассамблея, введенная батюшкой. И не чопорный бал Анны Иоанновны, на котором все тряслись от страха перед жестким взглядом государыни и ее внезапной, предвещающей опалу жесткой усмешкой. Это маскарад, и главное, чтобы здесь было весело, наслаждайся жизнью, музыкой, светом, любовью – вот девиз Елизаветы.

Мимо Никиты прошла в танце Софья, хорошенькая, возбужденная, в поднятой на лоб, похожей на бабочку маске. Печальный Амур был явно без ума от дамы, он даже устроил некоторую путаницу в фигурах, чтобы не разлучаться с прекрасной венецианкой. Никита искренне его пожалел.

– А великая княгиня будет сегодня в розовом, – раздался над ухом шепот.

Никита резко обернулся. Перед ним стоял слегка хмельной, насмешливый и счастливый Саша.

– Фу-ты, напугал!

– В руках лук, в волосах месяц. Стало быть, Артемида-охотница, – продолжал Саша, весьма довольный эффектом. – Воинственная дева! – Он поднял палец.

– Среди танцующих ее нет. Я бы ее и под маской узнал...

– О нет... За четыре года она очень изменилась, – бросил Саша и опять куда-то исчез.

Никита пошел бродить по анфиладам комнат. В китайской гостиной расположилась большая компания молодежи. Щупленький кавалер в огромном пудреном парике, картавя и отчаянно жестикулируя, рассказывал пикантную историю. Каждая его фраза встречалась дружным хохотом. Какая-то парочка страстно целовалась за шторой. Стоящий навтыжку гвардеец внимательно прислушивался к жаркому влюбленному шепоту и косил глаза в сторону. В соседней гостиной у камина стояли двое, и то, что они не кричали, не дурачились, а о чем-то негромко беседовали, придавало этой, наверное, самой банальной беседе деловой и таинственный характер. При появлении Никиты они вдруг смолкли и принялись рассматривать стоящие на камине дивной работы часы, украшенные перламутром и черепахой. Никита еще потому задержал взгляд на этой паре, что костюм на одном из них был очень похож на его собственный. Упастый бархатный берет незнакомца был украшен сверху небольшой пуговкой, и Никита машинально ощупал свой берет: неужели и у него там пуговка? Так и есть, видно, костюмы были взяты в одной мастерской. Внезапно один из мужчин круто повернулся и вышел. Никита так и не увидел его лица, только запомнил широкую, обтянутую бордовым атласом спину и парик с темным бантом.

Указанный в билете сюрприз находился в дальней угольной гостиной. Им оказалась подъемная машина, которая с легкостью необычайной опускала на первый этаж изящный диван, на котором могли уместиться разом четыре человека. С хохотом маски усаживались на диван и проваливались вниз, в недра первого этажа. Оставшиеся наверху свешивали в дыру головы, кричали, смеялись. Потом раздавалось: «Готово!» Чья-то рука нажимала на рычажок, и диван поднимался вверх, чтобы принять новую компанию, желающую отпробовать царского сюрприза. Один из четверых, которые поехали вниз, был тот самый, в бордовом камзоле. И опять Никита не увидел его лица и даже ощутил некоторую досаду, что сей господин от него увертывается. Глупость какая! Зачем ему нужно видеть лицо бордового господина? Никита «про-

читал» себе тираду о суетности и странных особенностях пустого человеческого любопытства и пошел назад.

Тем временем государыня, отплясав и менуэт, и котильон, и прочие танцы, почувствовала себя притомившейся и вспотевшей, а потому исчезла, чтобы появиться через десять минут в маске и костюме мушкетера, в этом наряде она была узнана только самыми близкими людьми, чей дотошный глаз вычислял ее в любой одежде, прочая же публика не менее часа рыскала по зале, выискивая голландского шкипера, и была немало раздосадована, когда выяснилось, что Елизавета поменяла костюм и давно уже сидит за карточным столом.

Играли в голубой гостиной. Собственно, в голубой, названной так из-за обивки и облицованного лазуритом камина, разместились царская фамилия и близкие ко двору, а в соседней комнате, где столов было больше, ставки меньше и гвалт как в порту, размещался прочий люд. Кабинет этот почему-то назывался «лакейской».

Забредя в этот кабинет, Никита неожиданно увидел за столом Сашу. Он был по-прежнему весел, решителен, видимо выигрывал. Увидев друга, он указал рукой за стену, громко, без опасения быть услышанным крикнул: «Она в голубой!» – и опять, как в пену морскую, погрузился в карточный азарт.

Никакой бал в те времена не обходился без карточной игры в кампи или пикет, а также в тресет, басет и прочие. Играли всегда на деньги и по крупным ставкам, мелкие считались неприличными. К счастью, не все приглашенные были обязаны сидеть за зеленым сукном, но для особ первых классов, а также министров и иностранных послов игра с особами царской фамилии была обязательна. Боясь ввергнуть свои государства в лишние расходы, некоторые послы предпочитали сказатьсь больными и вообще не являться на бал, что, впрочем, было редкостью. За игрой с государыней послы если не слышали государственных тайн, то уж сплетни получали с избытком. А придворные сплетни высоко ценились. По случайным обмолвкам можно было понять, к какому двору, английскому или, скажем, прусскому, благоволит в данный момент государыня, куда направит она свои стопы через неделю – в Ораниенбаум или Петергоф, кто ходит сейчас в ее любимцах, а там уж можно делать выводы о кознях Бестужева, за деятельностью которого следила вся Европа.

Дверь в голубую гостиную поминутно открывалась. В нее входили люди, некоторые, нерешительно потоптавшись, тут же выходили вон, иные, выше рангом, брали на себя смелость следить за царской игрой.

Государыня Елизавета, в расстегнутом камзоле, с несколько расстроенной, словно ожившей прической, что очень шло к ее милому разгоряченному лицу, сидела за центральным столом и смеялась, прикрыв картами, как веером, полный подбородок.

За правым столом с дамами играл в свое любимое кампи великий князь, за левым столом сидела великая княгиня Екатерина. Рядом восседал благодушного вида толстяк – Лесток все-таки не отважился пропустить бал – и какая-то чопорная беременная дама. Никита мельком подумал, что, может, это костюм такой – с пристегнутой к животу подушкой, и тут же забыл о ней.

Все его внимание сосредоточилось на Екатерине (какое чужое имя!). Великая княгиня, как и все здесь, была без маски, но не будь в ее украшенных живыми розами волосах еще и полумесяца Дианы, Никита вряд ли узнал бы в этой кареглазой бледной красавице с пышными плечами хрупкую веселую девочку – Фике.

Почувствовав на себе пристальный взгляд, Екатерина вскинула голову. Рука Никиты вместе с маской опустилась вниз. Они встретились глазами, и он почувствовал вдруг, как взмокла у него спина. Екатерина ничем не выказала своего удивления, на секунду, может быть, на две задержала на нем взгляд и вернулась к игре.

Лесток оживленно и подобострастно вскрикнул – поставленная Екатериной карта выиграла. Она вспыхнула, засмеялась, довольная, и вдруг стала очень похожа на прежнюю Фике.

Никита отклеился от дверного косяка, зажмурился и, пятясь, вышел в танцевальный зал. Не узнала... нет, просто забыла. Он ей ничем не интересен. Какой-то русский студент, коряво и натужно предлагавший свою дружбу! Говорили, смеялись, целовались – не очень жарко, девочка не умела целоваться и приблизила свои губы к его губам, одержимая не любовью, а простым любопытством. Девочки в четырнадцать лет очень любопытны, у них все впереди, и память удерживает только яркие, нужные встречи. Разве может он сам вспомнить хозяев постоянных дворов и зрителей, которые меняют лошадей, или хорошеньких слуганок, с которыми судьба сталкивала его в немецких гостиницах?

Софья нашлась в обществе Анастасии и мило щебечущих ярких и очень похожих друг на друга фрейлин. Она издали увидела Никиту, обрадовалась и побежала к нему через зал.

– Я видела государыню и великого князя, мне показали... – Она вдруг посерьезнела. – Ты что такой... перевернутый?

Никита неопределенно пожал плечами, стараясь, чтобы улыбка выглядела если не Веселой, то хотя бы не жалкой.

Часы пробили десять, и царская фамилия по обычаю двинулась в обеденный зал ужинать. Для них был накрыт стол, за стульями стояли камер-юнкеры, чтобы услужливо подать царской особе и их самым именитым гостям вино и сладкие напитки. Прочие гости ужинали в другой зале стоя. Уже потянулись официанты с подносами, заставленными бургундским и рейнским винами.

Задев Никиту локтем, в обеденный зал проследовал великий князь Петр Федорович. Фигура его в узком партикулярном платье казалась совсем мальчишеской. Он сдвинул на затылок шляпу, удлинявшую овалное, хрупкое, порченное оспой личико, и захохотал неприятно, словно зная, какой у него хриплый, неблагозвучный смех, – пусть слушают черти придворные и кланяются. В наступившей тишине резко прозвучал цокот его подбитых подковками каблучков и шпор.

Перед великим князем расступились, и только одна старуха, словно сбившись с такта, хромя, торопилась освободить наследнику дорогу и быстро, словно улепетывая, прошла по этому коридору. Неожиданно для всех, а может быть, и для себя, Петр быстро пошел за старухой, копируя ее хромоту и нелепые ужимки, возникшие от излишней поспешности.

Это было неприлично и очень смешно. В великом князе явно пропадал великий актер. Публика разразилась хохотом, а бедная старуха заметалась туда-сюда, желая скрыться, спрятаться, исчезнуть. Сцена была комичной и жестокой, и Никита невольно отвернулся.

– Не оглядывайтесь, князь, – раздался возле его уха сдавленный, словно после быстрого бега, шепот, – и не пытайтесь говорить со мной. Это опасно.

Екатерина задержалась подле него, поправляя привязанный к поясу колчан со стрелами. Никита застыл, как соляной столб. «Вспомнила... Узнала... Но откуда это непонятное слово – «опасно»? Что может грозить владычице в ее чертогах?» – именно так он подумал и криво улыбнулся своей высокопарности. Стоящая рядом Софья с испугом смотрела на Никиту. Она не разобрала слов, брошенных великой княгиней, но видела, как вжалась вдруг его голова в плечи, как застыл взгляд. Вся эта сцена была короткой, как вздох.

– Я дам о себе знать. – И Екатерина быстро пошла вслед за мужем.

Никита вдруг обмяк, Софья схватила его за руку, но ничего не успела спросить – к ним подошел Белов.

– Я вас насилу отыскал. Как веселитесь? Софья, да какая вы хорошенькая! А ты что насупился? – Он проследил за взглядом Никиты, провожающим великокняжескую чету, и вспомнил недавнюю сцену. – Ах, это... – Саша перешел на шепот: – Привыкай... великий князь – ребенок, ему надобно прощать все проделки и шалости. Не обращай внимания. Пошли со мной, я вам чудо покажу, – обратился он уже к Софье.

– Какое чудо? – Софья понемногу приходила в себя.

– А вот увидите! Я такой токай по два рубля за бутылку покупал, право слово. А здесь он рекой льется!

Чудом оказался обеденный стол, неведомо как появившийся в углу танцевальной залы. На столе без всяких официантов, а только нажатием рычажка, появлялись сами собой вина и роскошные яства. Приглашенные не хотели стоять в очереди, толкались, смеялись. Саша был в первых рядах и через головы протягивал Софье и Никите куверты с вином и закуски.

Вино было холодным, игристым. Выпили одну бутылку, Саша принес еще три. Софью несколько удивило отсутствие Анастасии, она спросила об этом Сашу, но тот, словно не слышал, хохотал и буквально вливал в себя вино. Никита следовал его примеру, и вот он уже тоже хохочет, потом вдруг начинает оправдываться перед Софьей, он-де негодяй, так надолго бросил ее одну, уж в следующем танце он будет ее партнером, только бы не осрамиться, совсем танцевать не умеет.

Софья только улыбалась устало, пила вино маленькими глотками и облизывала сухие губы. Бедный ее Алешенька, торчит где-нибудь в гостинице с мокрыми простынями, клопами и еще какой-нибудь гадостью и не слышит этой дивной музыки и не пьет золотой токай.

Меж тем танцы возобновились с новой силой. Отужинав, государыня кинулась в кадрили с такой отчаянной веселостью, что заразила всех. Никита старался попадать ногами в такт, но ему это не всегда удавалось. Ну и пусть, черт побери, зато ему весело, весело! А вот здесь надо поторопиться, а то он Софью вообще потеряет в хороводе этих прыгающих, хохочущих, машущих руками. Все-таки танцы – это атавизм, господа!

– Все, Никита, пора домой. – Софья с трудом добралась до стены. – Устала, дети одни, – приговаривала она, задыхаясь.

– Сейчас Сашка оттанцует... – Никита тоже тяжело дышал, – он с тобой постоит... а я подгоню к подъезду карету. Не спорь, Гаврила должен был прислать... Сашка, иди сюда!

Отыскать карету среди множества экипажей было нелегко, но еще труднее было разбудить кучера – Лукьян спал беспробудным сном. Пока он его будил, пока втолковывал, куда подогнать карету, прошло минут десять, не меньше. Как только доехали до подъезда, Лукьян опять захрапел, угрожая свалиться с козел.

– А, шут с тобой! – махнул рукой Никита. – Сломаешь шею, будет одним бестолковым кучером меньше...

Софья и Саша нашлись там же у колонны, но прежде, чем пойти к выходу, Саша настоял на том, что Софье совершенно необходимо показать подъемное устройство. Никита согласился было – да, очень забавно, – но тут же стал отговаривать друга от этой затеи. У диковинного дивана очень много народу, прежде чем на нем подняться, все ноги отстоишь, а Софья и так чуть жива. Но Саша не унимался – это же главный сюрприз бала! Машину совсем недавно прислали из Мюнхена. Государыня не нарадуется этим подъемником, а фрейлины, негодницы этикие, назначают на диване свидания. Заслышали шорох, нажали рычаг, и вот они уже на втором этаже. И никто их не видит.

За разговорами спустились на первый этаж, прошли в угольную комнату. Против ожидания в помещении для иностранной игрушки было пусто и холодно, видно, публика удовлетворила свое любопытство. Стеганный диван был на втором этаже, его надобно было спустить. Свечи в шандалах почти догорели, в комнате был полумрак, и Саша долго искал нужный рычажок. Наконец нашел.

Подъемник бесшумно спустил диван, на нем спал человек в бордовом камзоле. Он сидел в очень неудобной позе, голова закинулась назад, светлый парик слегка обнажил голову с темными, коротко стриженными волосами.

– Набрался, приятель, – сказал Саша, подходя к дивану. – И давно тебя так катают, вверх-вниз? Никита, отнесем его на кушетку. – Он дотронулся до плеча мужчины и вдруг крикнул резко: – Свечу!

Мужчина в бордовом камзоле не спал – он был мертв. Из пышного кружевного жабо торчала рукоятка кинжала. Жабо оставалось белоснежным, только диван и камзол были липкими от крови.

Никита поднял свечу. Рассеченная шрамом бровь выражала крайнее недоумение.

– Кто ж тебя так, Ханс Леонард? – прошептал Никита.

– Ты был с ним знаком?

– Нет.

Только тут Саша увидел блестящие, расширенные от ужаса глаза Софьи. Она боялась приблизиться, боялась задать лишний вопрос и только всхлипывала, машинально покусывая костяшки пальцев.

– Я его видела... этого, – ответила она на Сашин взгляд, кивая на покойника. – Он танцевал. Потом к нему подошел такой длинный, в берете с пуговкой. – Она дотронулась до своего сложного головного убора, чтобы показать, где была пуговка, зубы ее отбивали дробь. – Очень похож на тебя, – обратилась она к Никите. – Я вас чуть было не перепутала.

– Уведи Софью, быстро! – приказал Саша. – А я позову караул.

– Может, дуэль?.. – Никита не мог оторвать глаз от лица убитого.

– Угу... на ножах. Да уведи же ты Софью! Сейчас сюда сбежится вся охрана. Ее здесь не было, понял?

Уже сидя в карете, Софья все повторяла, как она увидела этого бордового. Такой пронзительный... и все лопотал по-немецки с разными господами, танцевал, смеялся и вдруг... Никита укутал ей ноги пледом, закрыл плечи шубой. Софья привалилась к его плечу и заплакала.

– Я знала, знала, что мне не надо было ехать на этот бал! Что я Алешеньке напишу? Ведь почти на моих глазах человека убили...

Никита молча смотрел на пробегающий за окнами сонный, туманный, черный и безучастный Петербург.

Гаврила

Никита Григорьевич еще с утра не в духе, раздевался перед сном сам, шапочку маскарадную так в стену и вмазал, крикнув при этом загадочное: «С пуговкой!» – и сапоги не позволил снять. Если настроение у него безобидное и витает мыслями где-то в заоблачных государствах, то сам ноги тянет, сними, дескать, сапоги, а если неприятность какая-то: «Прочь, Гаврила! Вынимай из себя раба! Сам управлюсь...»

Ночью эта тирада: «Прочь, Гаврила!» – и так далее длилась дольше обычного, здесь присутствовало и «старый дурень», и «алхимик безмозглый», перечислять – слов не хватит, а виной тому, что попенял камердинер барину, не внял-де он его советам, не положил под язык прозрачный камень аметист – лучшее в мире средство против опьянения.

Ну и пусть его... Дело молодое, маскарадное, выпил лишнего, пошалберничал, устал от непомерного танцевания, тоже ведь работа, и немалая. На следующий день Гаврила и думать забыл о ночном буйстве хозяина – проспится и встанет добрый и ясный, как Божья роса.

Все утро Гаврила возился в лаборатории, как называл он теперь на университетский лад свои сдвоенные горницы, и хватился, когда уже время обеда прошло, – батюшки святы, неужели по сей час дрыхнут?

Гаврила кинулся в княжескую опочивальню. Никита не спал, но и вставать не собирался, лежал, отвернувшись к стене, и рассматривал обои с таким пристальным вниманием, словно травяной орнамент вдруг зацвел и населился всякими букашками и прочими мотыльками.

– Добрый день, Никита Григорьевич! – торжественно провозгласил Гаврила. – Изволите умываться?

– Изволю, – ворчливо отозвался Никита, с кряхтением перевернулся на спину, потом сел и принялся с прежним вниманием рассматривать свои босые, торчащие из ночной рубашки ноги.

Казачок тем временем принес кувшин ключевой воды, поставил его на умывальню и исчез, повинувшись движению Гавриловых бровей.

– Что холод собачий? Забыли протопить?

– Дак май на дворе, – укоризненно отозвался Гаврила.

– А если в мае снег пойдет?

Этого Гаврила уже не мог перенести и ответил отстраненным, словно с кафедры, голосом:

– Дерзаю напомнить, сударь мой, температура в спальном помещении должна не в ущерб здоровью поддерживаться умеренной...

Никита проворчал что-то бранное, но спорить больше не стал, ополоснул лицо ледяной водой, поморщился брезгливо – гадость какая! Самодовольный вид камердинера раздражал его несказанно.

– Язык у тебя, Гаврила, после Германии стал какой-то... суконный, лакейский. Раньше ты вполне сносно по-русски изъяснялся.

Гаврила хмыкнул что-то в том смысле, что если и учиться где-то русскому языку, то именно у дворни, а никак не у разнаряженных господ, что знай по-французски лопочут или по-английски квакают. Никита отлично понял этот бессловесный протест.

– Раньше ты был эскулап, человек науки, людей лечил, а теперь помешался на этих лапидариях, – продолжал Никита. – Накопил денег мешок, вот и не знаешь, что с ними делать!

– Да можно ли мне такие обвинения строить, Никита Григорьевич? Грех это... Драгоценные камни врачуют не только тело, но и душу, а от хвори врачуют лучше всяких трав.

– Что ж ты Луку своими камнями не пользуешь? Боишься, что прикарманит? Не жаль старика?

Речь шла о старом дворцеком, который серьезно занемог и уже более года лежал в маленькой комнатенке при кухне.

– Не примите за противное, но болезнь Луки называется старость, а оно неизлечимо.

– Тьфу на тебя! – вконец обозлился Никита. – Полотенце давай! Кофе... чтоб много и горячий! Есть ничего не буду. И никаких слов о вреде и пользе нашему замечательному здоровью!

Гаврила все-таки уговорил барина пообедать – не так чтобы плотно, но чтоб и желудок через час от голода не сводило. Когда Никита вышел из-за стола, посыльный принес записку от Саши, в коей тот просил друга приехать в дом на Малой Морской.

Никита приказал немедленно закладывать лошадей. Здесь уж он и сапоги разрешил надеть, и камзол на нем Гаврила собственноручно застегнул, если очень торопишься, можно и рабский труд использовать. Когда Гаврила с несколько обиженным видом прошелся щеткой по барскому кафтану, Никита сказал примирительно и ласково:

– Ну, не сердись.

– Да кто ж мы такие? Да имеем ли мы право сердиться? – вскинулся было Гаврила, но тут же сбавил тон – вид у Никиты был какой-то странный: не то расстроенный, не то испуганный. – Не случилось ли чего, Никита Григорьевич?

– Вчера во дворце человека убили.

– Кто? – потрясенно выдохнул Гаврила.

– В том-то и дело, что тайно. Нож в грудь – и все дела. Ты меня знаешь, я сам умею шпагой помахать. Но ведь это так, защита... А этот покойник, Гольденберг... Знаешь, я ему паспорт оформлял. И такое чувство дурацкое, словно я за него в ответе. Приехал человек в Россию по торговым делам, ни о чем таком не думал, и вдруг... Паскудно это – вот так распоряжаться чужой жизнью! Неужели она ничего не стоит в руках убийцы?

– Будет вам... Может, он негодяй какой, Гольденберг ваш. Богу виднее, кого убить, кого жить оставить, – рассудительно сказал Гаврила и, чтоб совсем закрыть неприятную тему, спросил деловито: – Что изволите к ужину?

– Сашка меня накормит... А впрочем, пусть поджарят говядину, как я люблю, – большим куском.

Никита сел в карету в настроении философическом. Прав Пиррон, утверждая, что человек ничего не может знать о смысле жизни и качестве вещей. Гаврила говорит, может, покойник – негодяй? А что такое негодяй? По отношению к кому – негодяй? И стоит ли жалеть негодяя? Да полно, так ли уж ему жалко Ханса Леонарда? Он его два раза видел, и только... Посему человеку мужеска пола, возраста двадцати трех полных года следует, как учил Пиррон, воздержаться от суждений и пребывать в состоянии полного равнодушия. То есть покоя атараксия, господа, так это называется. Качество предмета, как мы его видим, не есть его суть. Это только то, что мы хотим видеть. Кажется, человек мужеска пола несет чушь...

Карета выехала со двора, загрохотала по булыжнику. Какая-то сумасшедшая галка спланировала с крыши и уселась на каретный фонарь, покачиваясь в такт движению. Безумная птица... Впрочем, что ты знаешь об этой галке? Ты видишь ее сумасшедшей, а на самом деле она может быть разумнейшим существом в мире, уж во всяком случае умней тебя...

Кучер хлопнул кнутом: остерегись! – и галка, внемля его приказу, как бы нехотя полетела прочь.

Никита проводил ее глазами, потом лениво скользнул взглядом по подушке сиденья, зачем-то посмотрел себе под ноги. На полу валялась бумага, на ней отпечатался грязный след – каблук его сапога, наступил вчера не глядя. Никита потянулся за бумагой, намереваясь смять ее и выкинуть. Листок был атласный, твердый, сложенный вчетверо. Письмо? Как оно попало сюда? Очевидно, вчера вечером, когда кучер спал на козлах, кто-то бросил его в карету. Естественно, они с Софьей за переживаниями ничего не заметили. Никита развернул листок...

Позднее кучер рассказывал, что никак не мог понять, что хотел от него барин. «Выразиться внятно не могут, – объяснял он Гавриле. – Распахнули дверцу на полном скаку и ну орать: «Назад! Назад!» Насилу понял, что велят вернуться к дому».

Никита взлетел вверх по лестнице с воплем: «Гаврила, одеваться!» Камердинер недоумевал у себя в лаборатории: «Только что камзол застегивал. Иль в канаву свалились, Никита Григорьевич?»

Не свалился барин в канаву, чистый стоит и благоухает улыбкой. Оказывается, не надобен камзол червленого бархату, а надобен новый, голубой с позументами, башмаки, что из Германии привезли, и французский парик. Если Никита Григорьевич просит парик, то дело нешутное. Парик барин не любит, обходится своими каштановыми, разве что велит иногда концы завить, чтоб бант на шею не сползал. А уж ежели парик модный запросит, значит, предстоит идти в самый именитый дом. Парик барину очень шел – белоснежные локоны на висках, сзади волосы стянуты муаровым бантом – произведение парфюмерного и куаферного искусства под названием «крыло голубя». Мелкие локоны на висках и впрямь отливали и пушились, как птичье крыло.

– Да куда ж вы едете, Никита Григорьевич?

– Ах, не спрашивай, Гаврила.

– Вас же Александр Федорович ждут.

– К Саше я заеду, но позднее... Он не указывал времени. Заеду и останусь у него ночевать.

Смех в голосе, веселье, франтом прошелся мимо зеркала и исчез.

Суэта этого дня отступила окончательно, спряталась в норку. Гаврила отер пот со лба, последний раз цыкнул на дворню и притворил за собой дверь в лабораторию. Теперь его никто не потревожит до самого утра. Он подлил масла в серебряную лампаду, как бы подчеркивая этим, что творит дела богоугодные, запалил две свечи в старинном шандале, потом подумал и запер дверь, чтобы не шатались попусту, хотя по неписаному закону входить в Гавриловы апартаменты мог только Никита. Дворовые люди по бескультурию своему почитали лабораторию приютом колдовства, их калачом сюда не заманишь. И Гаврила никак не настаивал на их присутствии. Прошли те времена, когда он толлок серу для париков, парил корни лечебных трав и готовил румяна. В той жизни ему нужны были помощники. Теперь его лаборатория более всего напоминает мастерскую ювелира. А драгоценный камень, как известно, любит одиночество.

Знание открылось Гавриле в Германии. Занимался он там обычным делом – обихаживал барина, а также готовил все для парфюмерии и медицины. Уж сколько он там бестужевских¹ капель насочинял – бочками можно продавать. Доходы были богатые.

И вдруг в антикварной лавке между старой посудой, траченной жучком мебелью и портретами давно усопших персон обнаружил он книгу в кожаном переплете, писанную по-латыни. Имя автора природа утаила от Гаврилы, поскольку титульный лист вкупе с десятью первыми страницами был съеден мышами.

И все тогда сошлось! Антиквариус оказался милейшим человеком, охотно, не взимая цены, объяснил, что сия книга есть мистическая лапидария, то есть учение о камнях. И текст сразу показался понятным, потому что, заглядывая в учебники барина, Гаврила очень преуспел в латыни. Здесь все было дивно, и то, что буквы складывались в понятные слова, и то, что слова эти были таинственны.

¹ Капли от простуды и прочих хворей придумал не однофамилец канцлера, а он сам в бытность свою в Копенгагене. Эти капли, получившие впоследствии название «золотого эликсира», были изготовлены совместно с химиком Ламбке. Почему из этих двух имен судьба поместила на этикетку именно Бестужева, остается тайной до сих пор.

Уже потом с помощью того же антиквариуса приобрел Гаврила за сходную цену прочие старинные трактаты-лапидарии, среди них и «Правоверного гравильщика Фомы Никольса».

Пора было прицениваться к драгоценным камням. Стоили они очень дорого, но покупка сама за себя говорила – не столько потратил, сколько приобрел! Нельзя сказать, чтобы он совсем забыл прежнее ремесло – стены лаборатории по-прежнему украшали букеты сухих трав, в колбах дремали пиявки, а на полках громоздились в банках самые разнообразные компоненты для составления лекарств, но лечил он сейчас людей более из человеколюбия, чем по профессии, то есть за большие деньги. Брал, конечно, за лечение, но очень по-божески.

И философия у него появилась другая. Он вдруг отчаялся верить в прогресс, как в некий эликсир счастья, и решил, что идти надо отнюдь не вперед, осваивая новое, а назад, вспять, вспоминая утраченное старое. Камни... это высокое! И великий врач Ансельм де Боот об этом же говорит.

«Учение о камнях суть два начала – добра от Бога и зла от диавола. Драгоценный камень создан добрым началом, дабы предохранить людей от порчи, болезней и опасностей. Зло же само оборачивается, превращается в драгоценный камень и заставляет верить человека больше в сам камень, чем в его доброе начало, и этим приносит человеку вред».

Может, и запутанно изложено, но Гаврила этот узелок развязал.

Гаврила любовно отер кожаный переплет старинной лапидарии, раскрыл ее на пронумерованной закладке и сел к свету. Сегодня он хотел обновить свои знания о сапфирах, имеющих цвет голубой синева и являющихся некоторой разновидностью корунда – родного брата рубина. Сапфир, как толковали лапидарии, предохранял обладателя его от зависти, привлекал божественные милости и симпатии окружающих. Сапфир покровительствует человеку, рожденному под знаком Водолея, а поскольку Гаврила появился на свет десятого февраля, то надо ли объяснять, как необходим был ему этот камень.

С легким вздохом Гаврила открыл ключом ящик стола, потом снял с груди другой ключик и отпер заветную шкатулку. В ней на бархатных подушечках, каждый в своей ячейке, лежали драгоценные камни. Здесь были рубины, аметисты, алмазы, изумруды и аквамарины, а эти камни он купил легко, по случаю, а сапфир искал долго. В Германии сей камень так и не дался ему в руки. Нашел он его дома, в Петербурге, на Гороховой, у ветхого старичка, который давал деньги в рост. Торговались чуть ли не месяц, и все никак. По счастью, старика вдруг разбила подагра.

Читавший лапидарии знает, что нет лучшего средства от подагры, чем сардоникс – полосатый камень. Но сардоникс в Гавриловой коллекции был плохонький, так себе сардоникс, полосы какие-то мелкие, и отшлифован камень был кое-как, словно наспех. Словом, не желая рисковать, Гаврила сварил старику потогонно-мочегонное питье, приготовил мазь и сам ходил ставить компрессы. Ростовщику полегчало.

Старикашка попался умный, он знал, что подагра не излечивается до конца, а только подлечивается, и в надежде и дальше использовать лекаря, сбавил цену за сапфир почти вдвое, хотя и эта цена была разорительна.

Камень, мерцающий, лежал на странице книги. Старикашка клялся, что родина сапфира Цейлон, и категорически отказывался сообщить, кто владел им ранее. Судя по богатству красок и света, сапфир мог принадлежать самым высоким особам. Кто знает, может, украшал он скипетр самого царя Соломона. По преданию, тот сапфир имел внутри звезду, лучи которой слали параллельно граням шесть расходящихся лучей.

Вернулся кучер Лукьян и отпрапортовал под дверью, что барин отправил карету сразу же, как мост через Неву переехали, дескать, до Белова потом дойдет пешком, там и иттить-то всего ничего, а завтра, мол, пришлите карету к бывшему дому Ягужинского, что на Малой Морской.

Гаврила никак не отозвался на это сообщение, в апартаментах было тихо. Кучер подождал, прислушался, потом поклонился двери и пошел спать.

А Гаврила тем временем клял шепотом проклятого Лукьяна, что спугнул тот синие лучи. В какой-то миг и впрямь показалось камердинеру, что видит он астеризм и три оптические оси... И вдруг: «Гаврила Иванович, выдь, что скажу...» Олух, уничтожил лучи! А может, к беде? Камень-то, он живой, он от человеческой глупости и подлости прячется.

Он подышал на сапфир и спрятал его в шкатулку. Надо бы сделать амулет в достойной оправе и носить его на груди, чтоб получать милости и симпатии от окружающих. Гаврила усмехнулся. Какие ему симпатии нужны, от женского полу пока и без камней отбою нет. Или надо, чтоб кучер Лукьян, дурак горластый, ему симпатизировал?

А милостей от Никиты Григорьевича ему и так достаточно, дай им Бог здоровья, голубям чистым...

Анастасия

Саша прождал Никиту до самого вечера, а потом махнул на все рукой и отправился в Зимний дворец, к жене.

– Сашенька, голубчик, да как ты вовремя! Государыня сегодня спала до трех, а потом в Троице-Сергиеву пустынь изволила уехать.

Меня с собой хотела взять, но я сказалась больною, мол, лихорадит. Теперь меня и ночью в ее покои не позовут. Государыня страсть как боится заразиться, – говорила Анастасия, быстро и суетливо передвигаясь по комнате.

Она выглянула в окно – не подсматривают ли, зашторила его поспешно, подошла к двери, прислушалась, открыла ее рывком, позвала горничную Лизу, что-то прошептала ей и наконец закрылась на ключ.

Саша поймал ее на ходу, прижал к себе, поцеловал закрытые глаза. От Анастасии шел легкий, словно и не парфюмерный дух, пахло малиновым сиропом, летом – теплый запах, знойный.

– Может, поешь чего? – шепнула Анастасия.

– Расстели постель.

По-солдатски узкая кровать стояла в алькове за кисейным, пожелтевшим от времени балдахином. И кровать с балдахином, и атласные подушечки, украшавшие постель, и шитое розами покрывало было привезено Анастасией из собственного дома и входило в необходимый набор дорожных принадлежностей, таких же, как сундук с платьями, ларец с чайным прибором и саквояж с драгоценностями, кружевами и лентами.

Жизнь Анастасии, как и самой государыни, вполне можно было назвать походной. Елизавета не умела жить на одном месте. Только осеннее бездорожье и весенняя распутица могли заставить ее прожить месяц в одних и тех же покоях. В те времена дворцы для государыни строились в шесть недель, и поскольку стоили они гораздо дешевле, чем вся необходимая для жизни начинка, как-то: мебель, зеркала, канделябры и постели, то все возилось с собой, и не только для государыни, но и для огромного сопровождающего ее придворного штата. Не возьми Анастасия с собой кровать – и будешь спать на полу, не возьмешь балдахина – и нечем будет отгородиться от дворни, которая ночует тут же на соломе, иногда в комнату набивалось до двадцати человек.

Кто-то резко постучал в дверь. Анастасия тут же села в кровати, прижала палец к губам. Послышался оправдывающийся голос Лизы:

– Барыня больны, почивают...

– Тебя кто-нибудь видел? – шепотом спросила Анастасия мужа, прижимая губы к его уху.

– Может, и видел... Что я – вор? Чего мне бояться?

– Шмидша проклятая, теперь государыне донесет...

Шмидшей звали при дворе старую чухонку, женщину властную, некрасивую до безобразия и беззаветно преданную Елизавете. Лет двадцать назад чухонка была женой трубача Шмидта, по молодости была добра, а главное, до уморительности смешна, за что и была приближена к камер-фрау – шведкам и немкам из свиты Екатерины I.

Сейчас она состояла в должности гофмейстерины, то есть была при фрейлинах – спала с ними, ходила на прогулки и, как верная сторожевая, следила за каждым шагом любого из свиты государыни.

За дверью уже давно было тихо, а Анастасия все смотрела пристально на замочную скважину, словно вслушивалась в глухую тишину.

– Ну донесет, и черт с ней, – не выдержал Саша. – Что мы – любовники?

– Вот именно, что любовники, – сказала она тихо и засмеялась размягченно, уткнувшись куда-то Саше под мышку, – был бы ты больной или старый, я бы не так боялась. А сегодня государыня в гневе... мало ли. У нас днем история приключилась, но об этом потом...

– Обо всем – потом, – согласился Саша.

Дальше последовали поцелуи, объятия и опять поцелуи.

– Господи, да что же это за кровать такая скрипучая и жесткая! Как ты на ней спишь? – ворчал Саша.

– Плохо сплю, – с охотой соглашалась Анастасия. – И сны какие-то серые, полосатые, как бездомные кошки. Скребут... Я сама, как бездомная кошка. Домой хочу!

Последняя фраза Анастасии была криком души – так наболело, но скажи ей завтра, мол, возвращайся в свой дом, хочешь – в Петербурге живи, хочешь – в деревне, но чтоб во дворец ни ногой, Анастасия наверняка смутилась бы от такого предложения. Как ни ругала она двор и приживалкой себя величала, и чесальщицей пяток, и горничной – это была жизнь, к которой она привыкла и уже находила в ней смысл. В дворцовой жизни был захватывающий сюжет и элемент игры, сродни шахматной, каждый шаг которой надо было просчитывать. От верного хода – радость, от неправильного – бо-ольшие неприятности, но ведь интересно!

Месту при дворе, которое занимала Анастасия, дочь славного Ягужинского и внука не менее славного Головкина, завидовали многие.

Приблизив к себе дочь опальной Бестужевой², государыня как бы подчеркивала свою незлобивость и великодушие. Пять лет назад она собственной рукой подписала указ о кнутах и урезании языка двум высокопоставленным дамам – Наталье Лопухиной и Анне Бестужевой. Но дети за родителей не ответчики. Елизавета не только любила выглядеть справедливой, но и бывала таковой.

Первый год жизни во дворце был для Анастасии сущим адом. Наследник, щенок семнадцатилетний, вообразил себе, что влюблен в красавицу статс-даму³. Правду сказать, любовью, флиртом с записочками, вздохами был насыщен сам воздух дворца, не влюблялись только ущербные, и Петр Федорович, накачивая себя вином, поддерживал себя в постоянной готовности, но по странному капризу или душевной неполноценности, когда и понять-то не можешь, что есть красота, он благоволил к особам самой неприметной внешности, а иногда и вызываясь некрасивым: Катенька Карр была дурнушкой, дочка Бирона – горбата, Елизавета Воронцова – просто уродлива. Так что Анастасия в этом ряду была странным исключением, и оставил Петр свои притязания не только из-за строптивости и несговорчивости «предмета», но из-за внутреннего, скорее неосознанного убеждения, что красавица Ягужинская – богиня Северной столицы – ему не пара и рядом с ней он будет просто смешон.

Потом наследник болел, венчался, завел свой двор. Его нежность к Анастасии стала далеким воспоминанием, но и по сей день на балах и куртагах он любил фамильярно-дружески показать ей язык или вызываясь подмигнуть, мол, я-то, красавица, всегда готов, только дай знать.

Елизавета не одобряла откровенных ухаживаний наследника за своей статс-дамой, тем не менее пеняла Анастасии, что та неласкова с Петрушей. «Экая гордячка надменная, – говорила она Шмидше, – кровь Романовых для нее жидка!» Шмидша не упускала случая, чтобы передать эти попреки Анастасии с единственной целью: озадачить, позлить, а может быть, вызвать слезы.

² Здесь необходимо дать пояснение, чтобы читатель не рыскал по страницам романа, – почему мать Анастасии Ягужинской зовется Анной Бестужевой (в девичестве Головкиной) и каким боком последняя приходится родственницей канцлеру. Анна Бестужева была первым браком за Павлом Ягужинским, а вторым – за Михаилом Бестужевым, братом канцлера Алексея Петровича Бестужева.

³ В те времена все при дворе знали, что любовь наследника сводится только к поцелуям да подмигиваниям. Потискает фрейлину где-нибудь под лестницей и ходит гоголем, как Дон Жуан.

Сама Елизавета находила оправдание нелогичности своего поведения. Все видят, что Петруша дурак, обаяния никакого, но показывать этого – не сметь! Так объясняла она себе неприязнь к Анастасии.

Была еще причина, по которой Елизавета имела все основания быть строгой со своей статс-дамой, – ее неприличный, самовольный брак. Когда после прощения государыни Анастасия вернулась из Парижа в Россию, государыня немедленно занялась поиском жениха для опальной девицы. Скоро он был найден – богатейший и славный князь Гагарин, правда, он вдовец и чуть ли не втрое старше невесты, но это не беда. «Прощать так прощать, – говорила себе Елизавета, – пусть все видят мое добросердечие, а то, что она с мужем за Урал поедет, где князь губернаторствовал, так это тоже славно – не будет маячить пред глазами и напоминать о неприятном».

И вдруг Елизавета с негодованием узнает, что она девица уже супруга – обвенчалась тайно с каким-то безродным, нищим гвардейцем. Это не только глупо и неприлично – это неповиновение! Шмидша шептала странные подробности этого брака. Оказывается, он был состряпан не без участия канцлера Бестужева. Может, здесь какая-то тайна? Елизавета пораспрашивала Бестужева, но, если канцлер решил быть косноязычным, его с этого не спихнешь. Мекая и разводя руками, он сообщил, что-де любовь была, а он-де не противился, потому как юная его родственница не могла рассчитывать на приличную партию.

Ладно, дело сделано, и будет об этом. Анастасии велено было жить при государыне, но мужу строжайше запретили появляться в дворцовых покоях жены. Приказать-то приказали, а проследить за выполнением почти невозможно. Уж на что Шмидша проворна, но и тут не могла уследить за посещениями Белова. Мало-помалу, шажок за шажком добивалась Анастасия признания своего супруга. Сейчас Саше позволено приезжать к жене, но тайно, не мозя глаза государевой челяди, чтоб не донесла лишний раз и не вызвала неудовольствия государыни. Никак нельзя было назвать Анастасию любимой статс-дамой...

А потом вдруг все изменилось. Елизавета не вспыхнула к Анастасии нежностью, та по-прежнему не умела угодить, рассказать цветисто сплетню, но была одна слабость, бесконечно важная для государыни, в которой Анастасия оказалась истинно родной душой. Этой областью были наряды и все, что касалось того, чтобы выглядеть красавицей.

Стоило Анастасии бросить мимоходом: «Жемчуг сюда не идет, сюда надобны... изумруды, пожалуй», как немедленно приносили изумрудную брошь бантом или в виде букета, и Анастасия сама накалывала ее на высокую грудь государыни.

Ни к чему Елизавета не относилась так серьезно, как к собственной внешности. Может быть, это сказано не совсем точно, потому что серьезно она относилась к вопросам веры, к милосердию, к лейб-кампанцам, посадившим ее на престол, а также к политике, которая должна была ее на этом престоле удержать; очень серьезным было для нее понятие «мой народ», но вся эта серьезность была вызвана как бы вселенской необходимостью, а любовь к платьям, украшениям, туалетному столику и хорошему парикмахеру – это было истинно ее, необходимое самой натуре. Может быть, здесь сказался вынужденный отказ от этих радостей, когда она при Анне Иоанновне вела более чем скромный образ жизни, поэтому и принялась наверстывать упущенное с головокружительной быстротой.

Елизавета, как никто при дворе, была знакома с парижскими модами, и Кантемир, наш поэт и посол во Франции, до последнего своего часа перемежал страницы политических отчетов подробным описанием модных корсетов, юбок и туфель. Ни один купец, привозивший ткань и прочий интересный для женщин товар, не имел права торговать им, прежде чем не предъявит его первой покупательнице – императрице. Елизавета любила светлые ткани, затканые серебряными и золотыми цветами. Надо сказать – они шли ей несказанно⁴.

⁴ Вот как описывает Елизавету Петровну Болотов, наш уважаемый писатель, историк и садовод: «Роста она нарочито

Но вернемся к Анастасии. Как только Елизавета узнала, что в ней есть вкус и тонкость и умение достичь в одежде того образца, который только избранным виден, она в корне изменила к ней свое отношение. Отныне Анастасия всегда присутствовала при одевании императрицы, за что получала подарки и знаки внимания. Тяжелая это должность – «находиться неотлучно».

Вот и сегодня, кто знает, всю ли ночь проспит императрица или вздумается ей часа в три ночи назначить ужинать. Но пока об этом не будем думать, пока будем чай пить.

Анастасия накинула поверх ночной рубашки теплый платок, ноги всунула в туфли на меху, сквозняки продували дворец от севера до юга. Она не стала звать Лизу, сама вскипятила воду на спиртовке.

– Ты знаешь, вчера на балу человека убили. Что об этом говорят?

– Ничего не говорят, – удивленно вскинула брови Анастасия. – Наверное, от государыни это скрыли. А важный ли человек?

Саша вкратце пересказал всю историю, как они с Никитой обнаружили убитого, как пришла охрана, как поспешно унесли труп, взяв с Саши клятвенное обещание не разглашать сей тайны. Анастасия слушала внимательно, но, как показалось Саше, без интереса. Убийство незнакомого человека ее не занимало.

– А ты что хотела рассказать? – перевел Саша разговор. – Какая у вас история приключилась?

высокого и стан имеет пропорциональный, вид благородный и величественный, лицо имела круглое, с приятной и милой улыбкой, цвет лица белый и живой, прекрасные голубые глаза, маленький рот, алые губы, пропорциональную шею, но несколько толстоватые длани...»К тридцати девяти годам Елизавета была уже полновата, грузновата, но на Руси дородность не считалась недостатком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.